

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

ВОЛЧЬЯ
ХВАТКА

Часть сборника: Волчья хватка. Волчья хватка-2 (сборник)

Волчья хватка

Сергей Алексеев

Волчья хватка

«Алексеев Сергей»

2000

Алексеев С. Т.

Волчья хватка / С. Т. Алексеев — «Алексеев Сергей»,
2000 — (Волчья хватка)

ISBN 978-5-17-048355-6

Герой остросюжетного романа «Волчья хватка» Вячеслав Ражный – президент охотничьего клуба, бывший боец спецназа погранвойск. Но это всего лишь малая, видимая простым смертным часть его бытия. Ражный – вотчинный аракс, воин Засадного Полка, созданного еще в XIV веке Сергием Радонежским. В тяжелые для России годы Сергиевы ратники, владеющие особым боевым искусством, которое передается веками от отца к сыну, приходят на помощь родине. В мирное время они решают вопросы жизни и смерти между собой. Ражный, выстоявший в своем первом поединке, готовится к новой схватке с братом-араксом. Но куда опаснее будет столкновение с обычными людьми в современном мире, где в волке больше человеческого, чем в самом человеке...

ISBN 978-5-17-048355-6

© Алексеев С. Т., 2000
© Алексеев Сергей, 2000

Содержание

1	5
2	20
3	29
4	44
5	59
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Сергей Алексеев

Волчья хватка

1

Распятый веревками по рукам и ногам, он висел в трех метрах над полом и отдыхал, слегка покачиваясь, словно в гамаке. Натяжение было настолько сильным, что Ражный нисколько не провисал, и потому казалось, воздух пружинит под спиной, как батут, и если прикрыть глаза, можно ощутить чувство парения. Сухожилия и кости давно уже привыкли к бесконечному напряжению, и теперь вместо судорожной боли он испытывал легкое, щемящее сладострастие, чем-то напоминающее приятную ломоту в мышцах и суставах, когда потягиваешься после сладкого сна. Однако похожесть была лишь в ощущениях, поскольку это состояние имело совершенно иную природу и называлось Правилом (с ударением на первый слог), своеобразная пограничная фаза, достигнув которой, можно в любой момент произвести энергетический взрыв, например повалить столетнее дерево, задавить руками льва или медведя, сдвинуть неподъемный камень.

Или, оттолкнувшись от земли, подняться в воздух...

Подобные вещи обыкновенные люди проделывают в состоянии аффекта или в крайней критической ситуации, совершая произвольные, нечеловеческой силы действия, повторить которые никогда потом не могут. Снимают с рельсов трамвай, переехавший ребенка, или прыгают за ребенком с высоты девятого этажа и остаются живы и невредимы. Бывает, и летают, да только во сне и в детстве...

Управляемостью Правил можно было овладеть лишь на этом станке, в течение долгого времени распиная себя на добровольной голгофе и постепенно сначала увеличивая, а затем снижая нагрузку. Суть управления заключалась в способности извлекать двигательную энергию не из мышц, чаще называемых среди араков сырыми жилами, не из этой рыхлой, глиноподобной и легкоранимой плоти, а из костей, наполненных мозгом, и сухих жил – забытого, неостребованного и неисчерпаемого хранилища физической и жизненной силы. Костная ткань и особенно мозг имели способность накапливать огромный запас энергии солнца (в том числе и радиации), но человек давно разучился высвободить и использовать ее, отчего происходил обратный эффект: плоть от перенасыщения активной «замороженной» силой быстро старела, вместо радости бытия развивались болезни, и век человеческий вместо двух, трех сотен лет сокращался вчетверо. Поэтому араки не были сажеными гигантами с метровым размахом плеч, как обычно представляют себе богатырей, почти не выделялись в толпе каким-то особым телосложением; чаще, наоборот, выглядели сухощавыми и жилистыми, но с широкой костью.

И жили так долго, что вынуждены были прятать свой возраст.

Сам тренажер тоже назывался правилом, только с ударением на второй слог, и потому говорили – поставить или поднять на правило, то есть после Пира, первого в жизни поединка, который увенчался победой, араку давали право овладеть этим состоянием. В названии станка точно отражалось его назначение – выправить плоть человека, вернуть ее в первоначальное состояние силы и свободы, а значит, и исправить духовную сущность. На первый взгляд он был прост, как все гениальное: в четырех углах повети на крючьях подвешивались точеные дубовые блоки, через них пропускались мягко витые, но прочные и пружинящие веревки из конского волоса, с одного конца цеплялся груз, с другого – запястья и лодыжки. Чтобы подвесить себя на эти растяжки, не требовался даже помощник. Противовесы в углах закреплялись на высоте с помощью сторожков, Ражный садился посередине пола, закреплял на конечностях

кожаные хомуты, затем одновременно тянул все четыре веревки на себя. Сила падающего груза в одно мгновение вскидывала его вверх, раздавался низкий гул натянутых в струну бечевков, и прежде чем приступить к специальным упражнениям, он несколько минут покачивался, будто на волнах.

Для мирских людей подобное приспособление показалось бы орудием пытки...

Ражный вздымался на правиле, когда на базе не было посторонних, зная, что свои не станут беспокоить. И в этот раз он не ждал гостей, однако в самый неподходящий момент к нему пришел калик. Этим всезнающих вечных путников не чуяли собаки, не держали замки и запоры, и ходили они так, что ни сучок под ногой не треснет, ни половица не скрипнет, потому он в буквальном смысле явился, вдруг обнаружив себя голосом.

– Здравствуй, Сергиев воин, – послышалось от дверей. – Не ждал ли ты гостя из Сирого Урочища?

Называя Ражного по-старинному, пришедший подчеркивал к нему уважение, поскольку в последнее время засадники называли друг друга просто защитниками, что и означало слово аракс. Калики перехожие – наказанные араксы, жили общинно в Сиром Урочище, своеобразном скиту. И были еще там калики верижные, носящие на теле своем тридцатипудовые цепи – вериги, которыми умиралась взбесившаяся плоть. Иначе их называли болящими, поскольку они когда-то переусердствовали в достижении Правила, перетрудились на правиле и, единожды войдя в состояние аффекта, более никогда не выходили из него и, не чувствуя, не соразмеряя силы своей, переступали неписанные законы – до смерти били соперников в Урочищах, буйствовали и колотили народ в миру. Тяжкие вериги приносили им со временем обратный эффект, достигаемый на правиле: наказанные араксы слабели и превращались в «ослабков» – уродливых, кривоногих, горбатых и физически убогих людей, кончающих жизнь свою в том же Сиром Урочище, где исполняли нехитрые обязанности по хозяйству, или уходили в мир, становились юродивыми, блаженными мудрецами.

Традиция эта соблюдалась жестко и неизменно со времен Сергия Радонежского, который не бросал в тюрьмы и подземелья провинившихся, а напротив, приближал к себе, держал под рукой и перед своим недремлющим взором.

Накануне схватки приход калика мог означать самое неприятное и обидное – потерю поединка. Духовный старец и судья Ослаб мог по каким-то причинам, скорее всего самым невероятным, не признать его победу на Пире – первой в жизни схватке, отдать ее Колеватому и прислать порученца с этой несправедливой вестью. Отец говорил, подобное случалось, если побежденный соперник приводил старейшине веские аргументы и доказывал, что вотчинник, на ристалище которого происходила схватка, и особенно Пир, пользовался запретными средствами или приемами.

– Я Ражный вотчинник, – ответил он. – Здравствуй, калик.

– Не спускайся с правила, – предупредил тот. – Дело у меня минутное...

– Говори.

Он ждал посланца не от Ослаба – от Пересвета. Накануне поединка калики приносили Поруку – время и место следующей схватки. Если одержишь победу – сам пойдешь, а побежден будешь – передашь своему противнику, когда тот подаст тебе руку, чтобы помочь встать на ноги.

Сейчас он не мог видеть калика, стоящего внизу, и судя по голосу, это был старый и неторопливый аракс, за что-то упеченный в Сирое Урочище.

– Боярин велел сказать, та Порука, что ты получил после Пира, отменяется.

Поруку дал Колеватый, когда лежал побежденным на вспаханном ристалище.

Ражный напрягся и совершил невозможное – повернул голову на сто восемьдесят градусов и увидел калика: пожилой, сутуловатый человек с огромными и длинными руками. Не приведи Бог брататься с таким...

Калик манежил, тянул время, но он вытерпел и лишь покачался на веревках, разминая мышцы рук. Единственным фактом, который Колеватый мог привести в качестве аргумента против полноценности Ражного, как аракса, была старая, давно обросшая мышцами рана на боку, где осколком мины вышибло ребро. Соперник мог доказать Ослабу, что во время схватки его неотвязно преследовала мысль любым неосторожным движением или ударом нечаянно убить Ражного, и потому-де, мол, чувствовал скованность во время поединка, чем и воспользовался пирующей аракс.

Но тогда это была бы явная кривда, ибо Колеватый увидел рану лишь перед сечей, а в периоды кулачного зачина и братания она была прикрыта рубахой.

– Твой соперник, славный аракс Стерхов, месяцем назад в миру погиб, – наконец-то снова заговорил калик. – Банальная автокатастрофа...

Ражного едва удержали веревки и противовесы – тело враз огрузло и потянуло к земле...

Смерть будущего поединщика означала, что победа в несостоявшейся схватке отдана ему. И в этом подарке не было ничего хорошего, если ты истинный аракс и тебе предстоит еще много поединков на земляных коврах, где в каждом последующем нужно ждать соперника более сильного, чем предыдущий.

– И что же?.. Пересвет лишил меня поединка?

Калик стоял внизу, как палач возле поднятой на дыбу жертвы, и мучил – тянул время.

– Не лишил, не бойся. – Еще и засмеялся, подлый! – Мужу боярному понравилось, как ты отделал Колеватого. Славно ты попировал, Ражный! А ведь Колеватый ходил в твою вотчину, чтоб зеленые листья с тебя сколотить...

– Где и когда? – перебил его Ражный.

Калик понял суть вопроса, но отвечать не спешил.

– Ослаб с опричиной скорбят по нему, а ты радоваться должен. Я тягался со Стерховым... Уверю тебя, зачин бы ты выстоял, а вот братание вряд ли...

– Меня не интересуют твои прогнозы, сырий, – резко оборвал он. – Говори!

– Срок и место Пересвет решил не переносить. Сказал, пусть будет, как было, ваш поединок – Пир Тризный и посвящен памяти славного аракса.

Разница в обыкновенном и тризном поединке состояла в том, что в последнем запрещалось стоять насмерть...

– Кто противник? – помедлив, спросил Ражный, хотя не надеялся услышать имя.

– Тебе еще раз повезло, – вздохнул калик. – Пересвет к тебе благоволит. Не знаю уж, по какой причине... Может, из-за отца твоего, а может, из-за победы над Колеватым... Но имя назвал. Против тебя выйдет Скиф. Слышал о нем?

– Не слышал...

– Ну да, ты же недавно пировал, – не удержался укорить молодостью калик. – Так вот знай, Скиф посильнее Стерхова, это я тебе говорю. Но ты приготовь достойный дар вотчиннику Вятскополянскому, не скупись. Мой тебе совет – пригони ему тот джип, что Колеватый тебе подарил. Только молчи, я тебе ничего не говорил!.. Отец Николай любит кататься с ветерком, а ездит на драных «Жигулях», но у него там жуткое бездорожье. И он тебе все устроит. Он пять лет назад единоборствовал со Скифом, и тот батюшкой чуть ли не пол-урочища вспахал, как сохой. В Белореченском Урочище сходились... Так что Николай до сей поры этого забыть не может.

Калики кроме своих повинных обязанностей были добровольными разносчиками новостей, слухов и сплетен; они знали все, что творится в Засадном Полку, а также то, например, о чем думают или о чем хотят подумать старец Ослаб и боярый муж Пересвет.

– Я взятки давать не буду, – прервал его Ражный. – Тем более колеватовского джипа уже нет...

– А где же он?! – будто бы изумился калик, хотя должен был знать, что все дорогие подарки вотчинники передают в казну Сергиева воинства.

– Сирый, ты меня притомил...

Тот нарочито обиделся.

– Ну, тогда тебе лучше с правила не сходить, если хочешь выстоять хотя бы до братания! Вот и виси под крышей, как муха в тенетах!

– Мне не нужны советы, – отрезал Ражный. – Скажи-ка лучше, принес ли ты новую Поруку?

– Нет, не принес. Боярин велел сказать лишь то, что сказал. А насчет новой Поруки – ничего. Может, он уверен, что ты Скифа одолеешь, так ему сообщил, где и когда следующий поединок.

– Ладно, иди, если все сказал!

– Какой строптивый! – усмехнулся калик. – Хотел бы я посмотреть, как ты со Скифом схватишься! Особенно в кулачном зачине!.. Так что Пересвету передать?

– Я перемену принял и жаловаться не стану.

– Так и передам!.. Слышишь, Ражный, подбрось на дорогу? К тебе добираться – беда, а таксисты цены ломают... Ну не пешком же мне ходить в конце двадцатого века! Работать некогда, воровать не пристало...

Ражный ждал такого вопроса, потому что не был бы калик, если б не выпросил что-нибудь.

– На вешалке куртка, – сказал он. – В кармане бумажник... Возьми сколько есть.

Сирый пошелестел, как мышь сухарями, протянул разочарованно:

– Тут всего-то двадцать баксов...

– Чем богаты, тем и рады...

– Ну тебя, Ражный! Все вотчинники прибедряются. А у кого нынче деньги? У вас да у опричников! Те так вообще ни гроша не дадут, поезжай на что хочешь...

– А ты их видел когда-нибудь? Опричников?

Калик спрятал деньги, помялся.

– Видеть не видел... Чтоб вот так явно! Кто из них признается?.. Но некоторых иноков подозреваю. Кстати, вот этот Скиф – один из них. Весь какой-то таинственный, ходит призраком, говорит загадками... И женился недавно!

Его подмывало выдать Ражному какие-нибудь последние сплетни, которых нахватался, путешествуя от аракса к араксу, и разумеется, не бесплатно...

– До свидания, сирый! – громко сказал Ражный, оборвав его на полуслове. – Дверь запри, как было.

– Ну, будь здоров, вотчинник!

– Скатертью дорога, Сергиев калик!

Он ушел так же неслышно, как появился, лишь сорока протрещала на опушке леса, давая сигнал, что видит человека. Ражный выждал минуту, отключился от реальности, полностью отдаваясь состоянию Правила, однако имя вольного поединщика – Скиф – осталось в сознании и откровенно мешало сосредоточиться. Тогда он сделал глубокий вдох и затаил дыхание минут на пять: это обычно помогало, поскольку кислородное голодание прочищало подсознание. Образ соперника, выраженный в имени, постепенно растворился, перед глазами поплыли радужные пятна, и тогда он выдохнул и свел руки, подтягивая противовесы. Это было исходным положением для «мертвой петли» – кувырка через спину.

Но выполнить упражнение он не успел, ибо вдруг услышал злобный лай сторожевой овчарки Люты, сидящей на цепи, и мгновение спустя дружно и яро заорали гончаки в вольере.

Вот уже две недели, как Ражный разогнал в отпуска всех егерей со строжайшим запретом ни под каким предлогом не являться на базу; мыслил перед поединком побыть в полном одиночестве и подготовиться без чужих глаз.

Судя по лаю, пришел кто-то посторонний...

Он подождал пару минут – псы не унимались, незванный гость нагло рыскал по территории, чем и приводил собак в неистовство. Ражный вспомнил, как однажды на базу залетел Кудеяр, и вместо «мертвой петли» освободил руки от хомутов, после чего, удерживаясь за веревки, подтянулся и поочередно снял растяжки с ног. Обернутые войлоком противовесы с глухим стуком опустились на пол. Сойдя с небес, он аккуратно смотал и убрал веревки, вышел из повети и запер дверь на ключ: о существовании тренажера, как, впрочем, и о тренировках, никто не знал и знать не мог ни под каким предлогом.

Откидывая железный затвор на входной двери, он услышал мягкие шаги на ступенях и короткое, запаленное дыхание...

На крыльце стоял волк – необычно крупный переярок, возраст которого мог отличить лишь опытный глаз. По-собачьи вывалив язык и по-волчьи поджав хвост, он смотрел настороженно и дерзко, готовый в каждое мгновение отскочить назад и скрыться в высокой траве.

– Молчун? – спросил Ражный.

Волк медленно расслабился и сел, однако в глазах остался испытывающий звериный лед. Гончаки заорали дружным хором, почуяв близость хозяина.

– Каким же тебя ветром занесло?.. И не узнать, совсем взрослый волчара. Жив, значит, брат? Это уже хорошо...

Молчун вслушивался в человеческую речь и постепенно оттаивал. Ражный сел на ступеньку крыльца, притиснувшись позвончиком к основанию резного столба, а волк неожиданно ткнулся в его опущенные руки, замер на мгновение, после чего стал вылизывать натертые до мозолей, напряженные запястья. И это было не проявлением ласки и преданности – своеобразным приветствием, некой обязанностью ухаживать за вожаком.

– Я предупреждал, – не сразу и назидательно сказал Ражный, чувствуя, как под волчьим языком гаснет жгущая боль. – Никогда не приходи ко мне... Я запретил тебе являться. Ты убил человека. Ты дикий зверь и больше ничего.

Переярок отступил назад и сел с виновато опущенной головой. На широком его лбу Ражный заметил тонкий просвет белой шерсти – верный признак заросшей раны, оставленной пулей или картечиной. Значит, уже досталось от кого-то...

– Все равно уходи, – приказал он. – В другой раз умнее будешь.

Молчун неожиданно вскинул морду и провыл низким, рокочущим басом – в глубине дома зазвенели тарелки в посуднике. А гончаки в вольере разом примолкли, и только кормилица Гейша заскулила радостно, загремела сеткой: трубный голос был умоляющим, призывным и требовательным одновременно.

– Что ты хочешь сказать? – Он настороженно встал, и зверь тотчас же соскочил с крыльца, отбежал в сторону берега и сел, поджидая человека и предлагая следовать за ним.

– Не пойду! – крикнул ему Ражный. – Я занят, понял? Через три недели поединок! Все, гуляй!

И ушел в дом. Волк в несколько прыжков снова оказался на крыльце, с ходу толкнул лапами дверь и тут же лег у порога, не смея ступить в жилище вожака. Проскулил просительно, так что Гейша в вольере заходила кругами и заревела по-матерински в голос.

– Ну, что там стряслось? – после паузы ворчливо спросил он и сдернул охотничью куртку с вешалки. – Без меня там никак?.. Мы же договорились: ты дикий зверь и живешь по своим волчьим законам. Я – по своим... И пути наши не должны пересекаться.

Молчун, как и положено, молча проследил за сборами, и когда Ражный взял карабин, так же беззвучно сошел с крыльца и потрусил к реке. На берегу он сел мордой к воде, подождал жожака.

– Понял, – обронил тот и полез в лодку.

Выждав, пока он запустит двигатель, волк демонстративно побежал кромкой яра вверх по течению, но за поворотом внезапно обогнал моторку, прыгнул в воду и поплыл наперерез. Ражный решил, что Молчун пытается таким образом пересечь в лодку, и сбавил газ, однако зверь спокойно пересек кильватерную струю и направился к противоположному берегу.

– Как хочешь, – буркнул Ражный и добавил скорости.

Волк же выбрался на сушу, встряхнулся и стремглав скрылся в густом чащобнике. И пока Ражный объезжал речную петлю в полтора километра, зверь миновал узкий перешеек и поджидал жожака у воды.

Подобная гонка длилась около получаса, прежде чем Молчун перестал пропадать из виду и пошел строго по берегу, в пределах видимости. Между тем осенний день был на исходе, низкие серые тучи отражались в воде, и этот сумеречный свет скоро затянул все пространство. Серый зверь почти растворялся в нем, и заметить его путь можно было лишь по шевелению сухих трав и резкому дрожанию ивовых кустарников возле уреза воды.

На очередном повороте неподалеку от разрушенного моста волк исчез, однако Ражный заметил силуэты лошадей на фоне белесых кустарников и лишь потом машущих руками людей. Резко сбавив обороты, он подчалил к берегу и одного узнал сразу – старший Макс, сын фермера Трапезникова. Второй же, молодой человек с кожаной сумкой на плече, одетый явно не для лесных походов, был незнакомым и, скорее всего, не из местных жителей. Он держался особняком, бродил вдоль речной отмели и казался безучастным к происходящему, тогда как Трапезников чуть ли не в воду лез, встречая лодку.

Ражный заглушил двигатель, и Макс вдруг застыл возле борта, глядя мимо.

– Ну, и что молчим? – спросил Ражный, слушая свой незнакомый голос в наступившей тишине.

Трапезников сел на нос лодки, повесив голову, незнакомец достал сигареты и закурил, и тут из прибрежных кустов появился младший, постоял мгновение, как сурок, внезапно заплакал навзрыд, чем окончательно встревожил Ражного, и снова скрылся.

Они были погодками, девятнадцати и двадцати лет от роду, высокие, широкоплечие, с исключительно гармоничной мускулатурой и, несмотря на молодость, степенные, чинные и немногословные. Старшего звали Максимилиан, младшего – Максим. Впрочем, вполне возможно, и наоборот, поскольку и родители не были точно уверены, кого как зовут на самом деле, выправив метрические свидетельства лишь спустя три года после рождения, поэтому их звали просто Максами. Их отец в придумывании имен своим детям отличался оригинальностью и одну из дочерей назвал даже Фелицией, таким образом наградив обидной для девочки кличкой Филя – как ее немедленно окрестили в сельской школе.

Оба Трапезниковых уже около года находились в розыске как уклоняющиеся от призыва на действительную военную службу.

Братья вряд ли когда плакали, выросшие в суровой природной среде, и потому у младшего получался не плач, а отрывистый, сдавленный вороний клекот, доносившийся из кустов.

– Заткнись, – сказал ему Ражный. – Слушать противно... Мужик!

Молодой человек с сумкой наконец-то приблизился к лодке и представился без всяких эмоций:

– Я врач районной больницы.

– И что дальше? – поторопил он.

– Нужно доставить труп в морг.

Ражный помолчал, спросил натянуто:

– Какой еще труп?

Тем временем старший Макс сполоснул водой лицо, проговорил отрешенно:

– Она умерла...

– Кто – она?

– Дядя Слава, она умерла! – в детском отчаянии крикнул он. – Сейчас, на наших глазах! –

И с ужасом посмотрел туда, где стояли кони и откуда доносился плач младшего.

Ражный догадывался, кто мог умереть, но не хотел, не желал верить и еще надеялся услышать другое имя...

– Может, ты объяснишь, кто? – спросил у врача и вышел на берег.

– Не знаю, – обронил тот и замаялся. – Документов нет... Женщина лет двадцати. Меня привезли к больной... Очень красивая... девушка.

За безучастием и равнодушием доктора скрывались растерянность и сильное волнение: вишнево-синие протуберанцы исходили от него в разные стороны и стелились над землей клочковатыми сполохами.

– Ты же помнишь, дядя Слава, – в сторону проговорил старший Макс. – В прошлом году девушка потерялась, Миля звали... Милитина полное имя...

Ражный молча направился к лошадям, привязанным за корягу на склоне берега, Трапезников и врач тотчас пошли за ним.

Завернутое в пододеяльник тело лежало на примитивной волокуше, видимо, только что изготовленной из двух срубленных берез. Возле него сидел младший Макс, держа руки покойной в своих руках – будто отогреть пытался.

Еще год назад, когда Ражный в последний раз видел Милю, она была красавицей. Точнее, не просто смазливой и ухоженной, каких сейчас было много, а потрясающей воображение, ибо никто ему так не снился, как эта девица легкого поведения.

Но о покойниках или хорошо, или ничего...

Узнать мертвую сейчас было невозможно: изможденное желтое лицо, проваленный старушечий рот, скатавшиеся в мочалку волосы и капли пота, будто заледеневшие на широком лбу...

– Она прекрасна, – между тем проговорил доктор. – Смерть проделывает с женщинами поразительные вещи...

Старший Макс опустился рядом с покойной на колени, бережно отнял одну руку ее у младшего и стал гладить скрюченные пальцы.

– Где ее нашли? – спросил Ражный братьев, однако они переглянулись и промолчали.

– В домике была, – вместо Трапезниковых сказал доктор. – Избушка на курьих ножках... В тяжелом состоянии... Болезнь обезобразила, а смерть изваяла красоту.

– Отчего умерла? – перебил говорливого доктора Ражный.

– Трудно сказать... Вскрытие покажет. Нужно немедленно в морг. Помогите доставить труп.

– Она заболела, – не сразу пояснил старший. – Три месяца назад, летом...

– А за мной приехали только позавчера! – укорил врач. – Теперь отвечать будете, лекари!

Братья скорбно помалкивали и думали не об ответственности...

– Несите ее в лодку, – распорядился Ражный.

Младший легко поднял тело на руки и понес к реке, старший шел рядом и поддерживал свисающую голову.

– Вероятно, запущенное двустороннее воспаление легких, – на ходу доверительно поделился предположениями доктор. – Сильный кашель, кровь в мокротах...

Утомленный компанией странных лесных братьев и не менее странной умирающей девицы, он теперь, кажется, радовался, что встретил взрослого серьезного человека и что избавлен наконец-то от долгих мытарств перевозки трупа в морг районной больницы. Когда

Трапезниковы положили тело на дно лодки, доктор сел на скамейку поближе, намереваясь поговорить по дороге, а рядом с покойной оказался младший Макс.

– Езжайте берегом, – приказал Ражный. – Перегруз, лодка маленькая.

Парень нехотя, но послушался, укрыл лицо Мили и вылез на берег. Доктор же придвинулся еще ближе, спросил между прочим:

– Интересно, как вы узнали? Или случайно ехали?..

– Случайно, – буркнул тот, запустил мотор и, отвернувшись от встречного ветра, погнал дюральку вниз по реке.

Скорбящие братья вскочили на коней и поехали напрямую, волчьим ходом, срезая речные меандры.

– Ее можно было спасти! – Доктор еще пытался наладить разговор, перекричать вой мотора. – Хотя бы на несколько дней раньше!.. Отправить санрейсом в областную больницу!.. А эти полудикие ковбои пользовали ее травкой! Когда нужны мощные антибиотики!..

Ражный не отвечал, лавируя между тесных берегов и бурлящих топляков. Вместе с сумерками засеял мелкий, хлесткий дождь, отчего пододеяльник быстро намок и облепил худенькое тельце. Он старался смотреть вперед и по сторонам, но взгляд сам собой притягивался к мертвой, и непроизвольно всплывали воспоминания более чем годичной давности.

– У нее была на шее лента? – вдруг спросил он.

– Какая лента?

– Черная, бархатная? Как проститутки носят?

– Она что, проститутка? – заинтересовался врач.

– Нет.

– И я думаю. Такого быть не может!

И это был весь диалог за дорогу.

На базу Ражный приехал в темноте, насквозь мокрый и озябший, у доктора так вообще зуб на зуб не попадал. А братья Трапезниковы уже стояли у воды, и их кони паслись по краю обрыва, выщипывая еще зеленую траву. Едва лодка ткнулась в берег, как младший прыгнул на нос и, грохоча сапогами, полез за телом Мили – спешил первым взять ее, боялся, отнимут. Встал на колени, бережно просунул руки под шею и колени, поднял и так же торопливо понес на берег. Голова покойной откинулась, подогнулись ноги, и вся она собралась в мокрый комочек, закрученный в пододеяльник, как в пленку.

– У вас есть машина? – спохватился доктор.

– Есть, – проронил Ражный, провожая взглядом братьев. – Но не дам.

– Почему?

– Двигатель разобран...

– А как же мне ехать? Как везти труп?

– Не знаю. – Он привязал лодку и пошел в гору.

– Но его срочно следует доставить в морг!

– В морг можно и не срочно, – пробурчал Ражный. – Раньше пошевелился бы – в больницу отвез...

Врач чуть приотстал, растерянный, потом догнал – бежал рысью, разогревался.

– И поблизости никакого транспорта не достать?

– Возможно, завтра заедет охотовед...

Младший Трапезников вынес тело на берег и остановился в нерешительности. Старший хотел было помочь ему, взять скорбную ношу, однако тот отстранился и крепче прижал к себе покойную.

– Что же нам делать? – за всех спросил доктор.

– Ждать утра, – на ходу посоветовал Ражный, направляясь к своему дому. – Вон охотничья гостиница...

– А труп?.. Понимаете, его нужно доставить для судебно-медицинской экспертизы. Иначе начнутся химические процессы в тканях, мозге, разложение... – Он оглянулся на Трапезниковых, заговорил шепотом: – Неизвестно, чем они пользовали больную. Может, отравили по невежеству... У вас есть морозильная камера?

– Есть... Но для хранения пищевых продуктов, а не трупов.

– Да ничего с ней не случится! Проведете дезинфекцию!..

– Морозильники отключены, нет энергии. Отнесите тело в «шайбу».

– В какую шайбу? – возмутился и разогрелся врач.

– Они знают, в какую. – Ражный кивнул на братьев и, поднявшись на крыльцо, снял с гвоздя ключ, бросил доктору. – Отопрете и положите на поддон. Там холодно...

В доме он зажег керосиновую лампу, задернул шторы на многочисленных окнах, запер дверь на засов и, спустившись в подпол, достал небольшой бочонок с хмельным медом собственного изготовления. Выдернув затычку, бережно, по-скупердяйски, нацедил немного в глубокую деревянную миску, после чего спрятал бочонок назад, а в мед долил воды, разбавив его таким образом раза в четыре. Покрытую полотенцем миску оставил на столе, а сам снял с полки ручную кофемолку, засыпал туда смесь семян тмина и острого перца, после чего долго и старательно молотил, пока не наполнился душистой мукой стальной стаканчик.

Это был ужин поединщика перед схваткой. Он ел медленно и задумчиво, аккуратно засыпая в рот щепотку муки и запивая ее разбавленным хмельным медом. Сначала кто-то постучал в дверь, через несколько минут – в окно, однако ничто не могло оторвать Ражного от этой ритуальной еды. Покончив с ужином, он сполоснул миску, вымыл руки и лишь после этого отбросил засов: он ждал, что первыми придут Макссы, однако их опередил врач.

– Мы положили труп в эту шайбу, – сообщил он. – Но там не очень холодно. И крысы.

– Не тронут, – заверил Ражный. – Что еще?

– А утром точно будет транспорт?

– Этого не знает никто.

– Связи тоже нет? Радиостанция или сотовый телефон?

– На сотовый не заработал...

Доктор чуял, что разговор пустой и бесполезный, но не уходил, мялся у порога, исподволь озирая пространство дома.

– Извините, а поесть у вас ничего не найдется? – наконец решился он. – Сутки, как из дома...

Ражный молча взял лампу и повел в кладовую. Снял со стены пустую корзину, сунул в руки доктора и стал щедро бросать туда банки с тушенкой, сгущенкой, сухари и печенье в пачках. Изголодавшийся врач оживал, и вместе с ним оживала скромность.

– Да хватит, куда столько? – бормотал он. – На троих-то... Нам перекусить только...

Но в глазах светился примитивный человеческий голод, по молодости еще охватывающий разум. Ражный добавил пару банок деликатеса – тресковой печени, чем окончательно растрогал доктора.

– А почему вы спросили про ленту? – вдруг вспомнил он.

– Про какую ленту? – будто бы не понял Ражный.

– Да у этой, – кивнул на улицу. – У покойной... Должен сказать вам по секрету, она не была проституткой.

– Не была – так не была...

– Мало того, – тон доктора стал доверительным, – умершая оставалась девственницей.

– Ты что же, проверил? – недобро усмехнулся Ражный.

– Разумеется... – смутился он, четко уловив тон собеседника. – Когда делал осмотр. Там еще, в избушке, пока была жива... Так положено...

– И что же тут особенного?

– Вы же сказали, лента на шее, как у проститутки!

Открыв железный ящик, Ражный достал две бутылки водки и тоже положил в корзину. У доктора блеснули глаза от предвкушения, но природное смущение не позволяло откровенно порадоваться неожиданному и приятному обороту.

– Это уж слишком, – сказал он. – Даже неловко...

– Погреемся, помянете усопшую...

– Я промерз до костей! – счастливо выпалил врач. – Соточку пропустить самое то. Спирта нам теперь не дают!.. А вы с нами?..

– Дел много, – пожаловался Ражный. – Квартальный отчет для налоговой. Ночами сижу... Чайник и посуда есть в гостинице.

– Мы со старшим все нашли!

– А что младший?

Врач вынул белый сухарь из корзины, откусил, разгрыз крепкими молодыми зубами.

– Переживает... Блаженный!

– Ты присмотри за ним, – попросил Ражный. – А лучше заставь выпить стакан водки и уложи спать. Он спиртного, пожалуй, еще не пробовал. Должен сразу сломаться.

– Логично. – Доктор сам вынул из коробки банку красной икры. – Ему надо расслабиться.

Проводив его до охотничьей гостиницы, Ражный отметил, что братья уже сидят в зале трофеев – там горела керосинка и на картине пегие стреноженные кони паслись за сетчатой изгородью вдоль реки, где на солнце еще зеленела и цвела поздняя трава. Он выждал полчаса, наблюдая за окнами, где маячили три тени, после чего достал запасной ключ от «шайбы» и в полной темноте приблизился к каменному круглому строению посередине территории базы. Так назывался каменный сарай, где когда-то была электроподстанция. В зимнее время здесь остужали парное мясо битых лосей и кабанов, поэтому под потолком висели крючья, а бетонный пол был залит и пропитан почерневшей звериной кровью.

Он знал, что нечаянные гости на базе сейчас заняты случайным застольем, и потому действовал решительно. Тело Мили лежало на стопке поддонов из-под кирпича, как на постаменте. По-прежнему завернутое в мокрый пододеяльник, оно казалось маленьким и щуплым; свечение смерти довлело в пространстве и мешало дышать. Ражный нашел ее ледяную кисть у подбородка, скомкал тоненькие пальцы в своей огромной руке и замер.

Жизнь еще тлела в этой плоти, хотя она умерла несколько часов назад, что и констатировал профессиональный врач. Только по молодости и неопытности не заметил одной детали – не наступало трупного окоченения, поскольку кровь еще не сворачивалась в сосудах, не превращалась в печеньку, и мышцы сохраняли прежнюю эластичность, допивая остатки жизненной силы из этой крови, костей и позвоночника, как растения допивают мельчайшие частицы влаги в засушливую пору.

И выживают, даже если земля превращается в золу...

Плоть не была еще безвозвратно утраченной, и оставалась надежда на воскрешение, если бы витающая над телом душа проявила к этому волю.

Ражный простоял над Милей несколько минут – душа реяла под потолком «шайбы», цепляясь за мясные крючья, и тончайшая связующая цепочка, напоминающая жемчужную нить, – единственный ее корешок, еще касался плоти в области солнечного сплетения, оставляя путь к отступлению. Но утлая, иссохшая скорлупа – то бишь тело, не выражало ни малейшей охоты продолжать биологическое существование.

Она умерла не от воспаления легких и не от другой телесной болезни; диагноз был иной и весьма распространенный в текущее время, хотя никак не трактовался и не признавался современной медициной. Смерть наступила из-за крайнего противоречия между душой и телом, не совместимого с жизнью.

– Не стану будить тебя, спи, – сказал он и вышел, заперев дверь, направился домой.

И уже поднимался на высокое крыльцо, когда услышал озлобленный лай Люты и гул проволоки, по которой скользила собачья цепь. Кого-то носило ночью по территории базы – овчарка свой хлеб отработывала честно, знакомств с людьми не заводила и никому не доверяла, кроме своего хозяина – старика Прокофьева, и работодателя Ражного.

Он сбежал с крыльца, направляясь в обратную сторону, и тут заметил возле «шайбы» человеческую фигуру – кто-то ковырялся с замком на двери. Вероятно, хмель на братьев Трапезниковых подействовал не так, как хотелось, и вместо сна и утешения в скорби еще больше взяло за сердце горе. Наверняка это был младший Макс – старший умел сдерживать свои порывы и чувства.

Ражный подходил осторожно с мыслью отвести парня к себе и поговорить по душам, но вдруг там, у «шайбы», возникло какое-то стремительное движение, сдавленный человеческий крик, и в тот же миг все пропало. Когда он подбежал, возле мясного склада никого не было и замок оказался закрытым, услышать же топот ног мешал яростный лай Люты. Так и не поняв, кто подходил к двери и что здесь произошло, Ражный снял цепь с проволоки и привязал овчарку возле «шайбы»: нечего пацанам ходить ночью к покойной, даже если она – возлюбленная...

Возвратившись домой, он обнаружил на крыльце Молчуна, сидящего у двери.

– Ну, а теперь что? – недовольно спросил Ражный. – Мы же обо всем договорились.

Волк осторожно взял его за рукав и сомкнул челюсти, давая понять, что настроен решительно. Он попытался выдернуть рукав из пасти – зверь не отпустил, мало того, потянул к себе.

– Как это понимать?.. Ты же видел, я не успел, не застал живую. Она умерла. Я знаю, вы были друзьями... Ну и что? Мне тоже ее жаль... Но все равно она бы не смогла жить в этом мире. И в лесу бы не смогла, потому что – человек.

Молчун выслушал его, не выпуская рукава, и снова потянул с крыльца.

– Что ты хочешь? – уже рассердился Ражный. – Я же сказал, она умерла! Ей не нашлось места, понимаешь? Жить среди людей – значит продаваться. Торговать душой и телом. А здесь она скоро бы озверела. Вот так, брат. Смерть для нее – спасение...

Увидев в ответ жесткую зелень в волчьих глазах, он вскипел, вырвал руку, оставив в пасти клок камуфляжной куртки.

– Ты зверь, понял?! Только зверь! И не смей больше вмешиваться в человеческую жизнь! И в смерть тоже! А ты уже раз вмешался!.. В лес. Иди в лес и не показывайся на глаза!

Волк склонил голову перед вожаком, поджал хвост и, когда Ражный ступил через порог, обиженной походкой спустился с крыльца и тотчас же скрылся в темноте. Поведение его было порывом отчаяния, а значит, слабости, никак не сочетающейся с волчьей жизнью. Правда, следовало учесть, что Молчун почти с самого рождения познавал и выпитывал не звериный, а человеческий образ жизни и, надо сказать, перенимал не лучшие его стороны, поскольку слабость губила всех одинаково, зверей и людей. Но отпущенный на волю, он больше не имел права на чувства – иначе его ждал бы такой же печальный конец, как и девицу со старинным и редким именем Милитина...

Визит Молчуна разозлил и обескуражил его одновременно, и, чтобы отвлечься от мыслей, вызывающих дисгармонию, Ражный стал думать о предстоящем поединке и сразу забыл обо всем. Заложив двери на засов, он вошел на поветь и, не зажигая света, стал готовить станок для работы. Для этого требовалось совсем немного времени – поднять и поставить каждый противовес на сторожок, чем-то напоминающий шептало в ружейном механизме, после чего сковать себя по рукам и ногам. Остальное уже никак не относилось к дедовской технике и зависело от воли и самоорганизации. Нехитрое это устройство могло возвысить человека, поднять и ввести его в состояние Правила, но могло превратиться в орудие казни – попросту разорвать на части.

Основная подготовка к взлету проходила днем, при свете солнца, когда он впитывал его энергию. Человеческий организм, точнее, костяк, представлял собой самую совершенную солнечную батарею, способную накапливать мощнейший заряд. Иное дело, сам человек давно забыл об этом, хотя интуитивно все еще тянулся к солнцу, и потому весной и стар и млад – все выползали на завалинки, выезжали к морю, на пляжи и бессмысленно тянули в себя миллионы вольт, если солнечную энергию можно измерять как электрическую. Бессмысленно, поскольку энергия эта оставалась не востребованной по причине того, что была утрачена способность высвободить ее и управлять ею.

Чтобы достигнуть предстартового состояния, следовало полностью абстрагироваться от действительности, отключиться от всего, что было важным, значительным еще несколько мгновений назад, избавиться от земного. Одним словом, совершить то, чего в обыкновенной жизни сделать невозможно – уйти от себя, как это делают монахи, чтобы служить Богу. Поэтому старых поединщиков по древней традиции, заложенной еще отцом Сергием, называли иноками, то есть способными к иной, бытийной, жизни.

Через каждые три подхода к этому станку груз уменьшался – из мешков выпускался песок. Тренажер можно было разбирать и прятать в сухое место после того, как опустеют все мешки и когда аракс начнет вздыматься над землей без помощи противовесов и в любом желаемом месте...

Пока еще Ражный был на середине пути и на каждом конце веревки висело по три центнера речного песка. А времени до поединка оставалось совсем мало – чуть больше трех недель, если не считать дорогу до Урочища где-то в районе Вятских Полян.

Длина веревок позволяла лежать на спине или на животе, раскинув звездой руки и ноги. Всякое неосторожное движение или даже мышечная судорога могли сорвать с шептала один из противовесов, и тогда сработают остальные, разрывая на части неподготовленное тело, поэтому он почти не шевелился, и лишь изредка от солнечного сплетения к конечностям пробегала легкая конвульсивная дрожь, напоминающая подергивание электрическим током. И чем больше и чаще пробегало этих энергетических волн, тем сильнее расслаблялись мышцы, крепче становились суставные связки и жилы, и как только из позвоночника и мозговых костей начинали течь ручейки солнечной энергии, брэнная плоть теряла вес.

То, что монах достигал постами и молитвами, поединщик получал за счет энергии пространства, напиваясь ею и равномерно распределяя по всему скелету, в точности повторяя магнитные силовые линии.

Через некоторое время воздух, соприкасаясь с телом, начинал светиться, образуя контурную ауру, и когда она, увеличиваясь, образовывала овальный кокон, аракс резко отталкивался всей плоскостью тела от опоры и взлетал, несомый противовесами.

Или подъемной силой достигнутого состояния Правила...

Сейчас Ражному пришлось лежать более получаса, прежде чем в полной темноте он начал видеть очертание собственной груди. Оставалось немного, чтобы преодолеть земное притяжение, когда издали, из мира, ушедшего в небытие, ворвался душераздирающий вопль. Так кричат смертельно раненные травоядные, ибо хищники чаще всего умирают молча.

Возврат к реальности был стремительным, накопленная энергия ушла в пространство вместе с единственным выдохом, на миг высветив чердачные балки. Тотчас запахло дымом: делать «холостой» выхлоп энергии было опасно...

Вопль повторился, но теперь уже близко, сразу же за стеной – тоскующий, зовущий голос – и следом долгий отчаянный стук в дверь. Пока Ражный снимал путы, младший Трапезников стучал и кричал иступленно, безостановочно, и гончаки в вольере, реагирующие на каждый шорох или нестандартное поведение, при этом хранили полное молчание.

Дождь на улице разошелся вовсю. Макс напоминал мокрого молодого зверя, потерявшего свою нору.

– Входи, – разрешил Ражный.

Парень переступил порог и остановился, не зная, куда идти в полном мраке. Пришлось вести его за руку, а когда в доме загорелся свет, он закрылся рукой и прилип к стене. На бледном, вытянутом лице оставались одни огромные и почти безумные глаза. Ражный подал ему миску с остатками разведенного хмельного меда, однако Макс сопротивлялся, выставя руки:

– Нет! Не буду! Не хочу! Вино не помогает!.. Станет еще хуже, я знаю.

– Это не вино, попей. Это напиток, дающий силы.

– Снадобье? Лекарство?..

– Можно сказать и так...

Он взял миску, понюхал. Отхлебнув, попробовал на вкус и выпил залпом.

– Это ты ходил к «шайбе» недавно? – строго спросил Ражный.

– Нет, я не ходил, – виновато проговорил младший Макс.

– А кто ходил?

– Не знаю... Я лежал на земле.

– Где остальные?

– Не знаю...

– А что ты знаешь?

– Знаю, что беда пришла, дядя Слава, – сказал обреченно. – Я погибаю.

– Держись, ты мужчина. – Он силой усадил парня на скамейку. – Привыкай. Иногда жизнь бьет сильнее.

– Сильнее не бывает. Я люблю ее. Мы с Максом ее любим... Дядя Слава, а ты тоже считаешь, мы виноваты?

– Нет, я так не считаю, – заверил он. – Но почему мне ничего не сказали? Когда нашли ее в лесу? А ведь еще в прошлом году нашли, верно?

– Верно...

– Ты же знал, что я ищу Милю? Знал и обманывал меня.

– Мы не обманывали! – вскричал Макс. – Она попросила, чтобы не говорили... А потом, когда поймали ее, ты уже не искал. И никто не искал...

– Поймали?..

– Она сначала боялась нас, не давалась в руки, не подпускала близко... – Вспоминая, он на минуту оживился. – Но мы ее приручили. Мы срубили ей домик, избушку на курьих ножках, железную печурку поставили, с дровами. А была уже осень, снег выпадал... Она все еще босая ходила и мерзла. И не стерпела, забралась в избушку и уснула. Там дверь была от медвежьей западни, отец научил. Захлопнулась намертво, изнутри не открыть... Мы стали ее кормить, разговаривать, и она скоро привыкла.

– Отец знал, что поймали?

– Не знал... Дядя Слава, она сама не хотела выходить к людям! Мы ей говорили, упрашивали хотя бы на зиму к нам пойти жить – не пошла.

– Я верю.

– Она была такая прекрасная!.. Мы приезжали каждый день, чтобы полюбоваться. Ей же было скучно одной жить. Привезли радиоприемник, но она выкинула в печку... А этот врач говорит, будто мы лишили ее свободы и... насильовали!

– Он вас пугает, потому что сам боится, – успокоил Ражный. – Ты же видишь, он обыкновенный шакал.

– Никогда не видел шакалов. – Макс вскинул мутные глаза. – Они же у нас не водятся... Дядя Слава, помоги нам! Сделай что-нибудь!

– Я уже однажды вам помог. Устроил призыв в армию. А вы сбежали и живете, как дезертиры.

– Мы пойдем в армию! Выйдем и сдадимся!.. Только помоги!

- В тюрьму теперь пойдете сначала. Потом в армию.
- Пусть... – тихо вымолвил он. – Выручи, дядя Слава. Ну еще раз!.. Говорят, ты – колдун.
- Я колдун?
- Дядя Слава, ты не обижайся, я слышал от людей. Про тебя еще говорят – демон. И дом этот весь... в нечистой силе.
- Что же ты тогда просишь? Если я демон и связан с нечистой силой? – обиделся он.
- Я ни при чем, так люди говорят, – растерялся Макс. – Но я все равно верю: ты не простой человек. И если демон, то добрый демон...
- Все не простые, брат. Если глубже копнуть человека.
- Однажды я видел тебя... в волчьей шкуре.
- Где видел? Когда?
- В прошлом году. Мы с Максом ехали по лесу, на смолзавод. А ты в дубраве был... Мы тогда так испугались. И кони испугались, понесли. Помнишь, у меня еще перелом был?
- Фантазер ты...
- Помоги мне, дядя Слава. Видишь, я погибаю! Может, до утра не доживу...
- Доживешь!.. Потом послужишь в армии...
- Я знаю, ты можешь оживить Милю, – горячим шепотом произнес младший Трапезников, дыша в лицо запахом весенней земли. – Если захочешь. Она же не совсем еще умерла, правда? Это врач сказал – смерть! А мне кажется, в ней есть жизнь. Только как искорка... Помоги, оживи ее! Я никому не скажу! Даже родному брату! Никому! Пусть считается, сама ожила. Ну бывает же такое!
- Бывает...
- Ну вот! – Его дыхание затрепетало от надежды и нетерпения. – Не знаю, колдун ты или демон, какая сила в тебе – чистая или нечистая. Но молю тебя – оживи! Ты можешь. Я знаю! Верю! А иначе сейчас пойду к «шайбе» и умру возле нее. Чтобы похоронили нас вместе.
- Сказано это было с блеском в глазах и высоким достоинством, так что Ражный поверил: не воскресить Милю – этот парень умрет.
- Понимаешь, брат... Никто не имеет права делать этого, – проговорил он, хотя уже понимал, что любые отговорки не будут приняты. – Наверное, ты слышал: люди рождаются и умирают по Промыслу Божьему. Какой бы смерть ни была... Миля скончалась не от воспаления легких, а по другой причине... Ты не поймешь, почему...
- Нет, я знаю, отчего! – загорячился Макс. – Ты думаешь, если я не учился в школе и совсем не образованный, так не знаю? Да я давно почувствовал, что Миля умрет!
- Ты меня слышишь?! – Ражный потряс его за плечи. – Никто не может воскресить твою Милю! Никто!
- Но я вижу в тебе силу!.. Ты сможешь! Люди говорят, твой отец умел поднимать мертвых. Ведь это правда?.. Значит, и ты знаешь!
- Нельзя верить молве, люди выдают желаемое за действительное.
- Фелиция видела, как ты оживил птицу. Замерзшую птицу! И потом ей подарил. И птица жила у нас до весны!
- Да я ее просто отогрел!
- И Милю отогреешь!
- Человек не птица!
- У меня ключ от «шайбы», – вдруг сообщил Макс. – Сейчас я пойду, лягу рядом с Милей и умру.
- Хорошо, – почти сдался Ражный. – Но если, воскреснув, она снова захочет умереть?
- Не захочет.
- Допустим, я поверил... Но запомни: со второй смертью умрет и ее душа. Так устроено... Все, кого вытаскивают с того света, реанимируют, выводят из клинической смерти, вли-

вают чужую кровь, чтоб спасти, пересаживают внутренние органы – все потом гибнут вместе с душой. Они как утопленники или самоубийцы... Ведь Миля все равно когда-нибудь умрет, например от старости... Ты не пожалеешь об этом?

– Люблю ее! – клятвенно воскликнул он. – И Макс любит!

– И ты такой же... Боже, почему в этом чувстве так много эгоизма?

Парень ничего не слышал, поскольку, чувствуя, как Ражный соглашается, уже дрожал от нетерпения.

А возможно, слышал и не понял ничего...

– Помоги, дядя Слава! Подними ее! Ты ведь умеешь, я вижу!

Ему показалось на миг, что глаза у парня стали по-волчьи пристальными, а взгляд пронзительным; он и в самом деле что-то видел...

– Послушай меня, Максим...

– Я не Максим!

– Ну хорошо, Максимилиан. Не сходи с ума, возьми себя в руки, ты взрослый парень...

– Не хочу ничего слушать! Оживи ее!

На улице вдруг залаяли гончаки в вольере, однако сторожевая и чуткая Люта отчего-то помалкивала. Кто-то взволновал их, встревожил, но, судя по голосам, лаяли они не на человека. Мало того, обычно визгливая Гейша, словно откашлявшись, завывала баском.

– Ладно, пошли! – послушав этот хор, согласился Ражный. – И ты увидишь, что это невозможно. Поскольку она мертва, понимаешь? И нет такой силы у меня, чтобы снова вдохнуть жизнь.

На улице младший Трапезников не отставал, двигался тенью и, кажется, тихо смеялся от предвкушения счастья. Люта сидела там же, где была привязана – у «шайбы», и помалкивала, пугливо забившись в чертополох под стеной.

– Что это с тобой? – спросил он настороженно и осмотрелся.

Овчарка заскулила и по-волчьи спрятала голову в траву.

Отомкнув «шайбу», но еще не открывая дверей, Ражный услышал тихий, утробный вой и потому, обернувшись назад, сказал в темноту:

– Стой здесь...

Плотно притворив за собой дверь, он зажег спичку и, шагнув вперед, увидел зеленое свечение глаз. Милю вносили, как и положено, вперед ногами, и потому она лежала сейчас головой к выходу, тело ее пульсировало, а над ним стоял волк и, вскинув морду, пел торжественную песню.

Видение длилось столько, сколько горела спичка...

2

Покойное блаженство и состояние восторга оборвались в тот самый миг, когда неведомая, конвульсивная сила вытолкнула его наружу, швырнула на жесткую землю, и в первый момент, неподвижный, больше похожий на сгусток крови и слизи, он оказался под солнцем, в мире, который давно и отчетливо чувствовал сквозь материнскую плоть. Он сделал первый вдох, и нестерпимая огненная боль разлилась по телу, толкнулась в слабые конечности и опалила голову.

И, полумертвый, он вскочил на ноги, вытянулся и пополз вперед, волоча за собой пуповину. Не заскулил, ибо не обрел еще голоса – лишь тяжело задышал, вгоняя в себя жгучий воздух, и вскинул ушастую, большую голову. Он был еще слеп, однако яркий свет и сквозь плотно закрытые, спеченные веки показался таким же палящим и болезненным, как воздух, и не было в этом только что обретенном мире ничего веселого и радостного!

Но вот язык измученной родами матери – щенок был в два раза крупнее обычного волчонка – достал его головы, стремительно и нежно пробежал по глазам, влился в пасть, ноздри, потом в уши, освобождая от сохнувшей крови, мягко скользнул по шерсти, и происходило чудо – боль снималась от малейшего прикосновения, и на смену ей вливались сила и ощущение восторга. Сам того не ведая, он издал первый звук, напоминающий еще не звериный рык – тихое, довольное урчание, прижимался к языку, подставлял шею, бока, затем, перевернувшись на спину, раскинул лапы, отдавая матери живот. Мать пока что состояла из одного этого языка и представлялась спасительным ласковым существом. Одним движением она усмирила огонь в груди, и он уж было расслабился от блаженства, как язык подобрался к пуповине и тут обнаружили материнские зубы. Острая, содрогающая боль вновь пронзила его, подбросила вверх, и в следующий миг он ощутил свободу.

С матерью теперь больше ничего не связывало... Вместе с утратой пуповины он всецело погрузился в существующий мир: в одночасье открылись слух и обоняние. Вылизанный, но еще мокрый, на неустойчивых лапах, он стоял на земле, явленный из небытия, и вкушал первые прелести жизни. Вокруг были плотные заросли крапивы и сухого, прошлогоднего маличника, выросших на дне ямы, под ногами битый кирпич, уголь и ржавое железо – все, что осталось от разрушенного человеческого жилья. Так что в первые минуты жизни он вкусил запахи человека, поскольку родился не в логове, а в старом подполе брошенной деревни. Он еще не знал человека, но уже чувствовал его вездесущую суть, будто мир этот всецело принадлежал только ему: в небе слышался воющий гул, откуда-то наносило едким, смолистым дымом, и от слепящего низкого солнца летели частые, визгливые голоса.

Над брошенной деревней показался вертолет с распахнутой дверцей, откуда виднелись люди с ружьями. Первенец не видел их, но почуял приближение человека, поднял голову и внезапно обрел голос зверя – зарычал в небо, выдавая свое местонахождение. И наверняка получил бы трепку от матери, но она в тот миг была занята собой: раскорячив задние лапы, судорожно выгнулась, застонала и произвела на свет еще одного звереныша. Осклизлый ком зашевелился на примятой крапиве и тоненько заскулил. А вертолет между тем неторопливо наплывал от леса, прибывая к земле траву мощным, сбивающим с ног потоком воздуха – мать не дрогнула, лишь прилегла, вылизывая детеныша. Откуда-то сверху на первенца свалилось нечто жесткое, стремительное и сильное, сбilo на землю, чуть ли не втоптало в сухую дресву. Потеряв ориентацию, он перевернулся несколько раз, закатился в яму и, когда вскочил, – ощутил рядом присутствие еще одного зверя – отца, вернее, его раскрытую пасть над собой. Он приподнял новорожденного за холку, коротко лизнул, но только выпачкал, ибо кровь у него стекала с головы, с выпущенного языка и мешалась с родовой кровью.

Зверь лег, кося глаз к небу, и волчица, оставив новорожденного, принялась вылизывать раны на голове отца. Он зарычал на нее, и когда тень от ревущей машины достала ямы, внезапно выскочил из крапивы и помчался вслед за этой тенью.

К нему присоединилась еще пара, до того бывшая в траве и не смевшая приблизиться к яме, – переярки, ее прошлогодние дети, бродящие за родителями на некотором расстоянии.

Первенец неуклюже пополз за ними, путаясь в траве, и прежде чем выбрался из обрушенного подпола, несколько раз свергался с трухлявых бревен, торчащих из земли, пока не помог себе пастью, цепляясь игольчатыми зубами за корни трав и примятый малинник. Вертолет плясал низко над землей, и с его борта хлестко гремели сдвоенные выстрелы. Люди стреляли по кустарнику, по нагромождению досок и бревен, вдоль старых, вросших заборов; они словно прощупывали свинцом землю, пока не вытолкнули переярков на чистое место.

Вертолет полетел боком, развернулся, и с борта вновь загрохотало. Тот, что ринулся вдоль деревни, попал под выстрел сразу же, а другой, бегущий к лесу, еще долго петлял по траве, резко меняя направление, и пал на самой кромке березовой рощи.

Совершив победный круг, охотники приземлились, забросили в машину переярков и пошли рыскать, выискивая матерого волка. А тот сидел плотно, невзирая на выстрелы, прощупывающие любое возможное укрытие, и рев низколетящей машины. Бесплезно покрутившись около получаса, вертолет вновь сел на чистом взгорке, далеко от вынужденного логова, три человека из команды стрелков спешили, остальные поднялись в воздух.

Мать безбоязненно следила за людьми из крапивы и продолжала заниматься своим делом.

Теперь охота началась с земли и с воздуха. Брошенную деревню прочесывали вдоль и поперек, лазили чуть ли не в каждые руины, оставшиеся от домов, обследовали ямы, накренившиеся заборы, и вертолет чутко отслеживал все действия, мотаясь над головами. И когда они приблизились к логову с волчицей, матерый внезапно выскочил прямо на охотников и заставил их залпом разрядить ружья, после чего пронесся между ними, сделал свечку и пополз в траву. Люди закричали, круто развернулись назад, пошли добирать подранка. Их поддержали с воздуха, гвоздя выстрелами землю и тем самым до смерти напугав земных. Они залегли, замахали кулаками в небо, закричали, словно их бы там услышали. В машине сообразили, что делают глупость, отлетели в сторонку, зависли, и тут спрятавшийся в траве волк вновь сделал свечку и понесся к лесу. Люди пальнули по разу ему вслед и побежали догонять, боязливо поглядывая на вертолет. Матерый мелькал в сотне шагов от них, двигаясь зигзагами, появляясь то в одном, то в другом месте, и создавалось впечатление, что бегут несколько зверей. Их крестили выстрелами, но не прицельно, с ходу и слишком азартно, чтобы попасть.

Почти не таясь, волчица стояла на краю ямы и смотрела на все это со стоическим спокойствием, и едва слепой детеныш выполз к ней, как мать скинула его обратно в яму.

Прищуренный звериный взгляд буравил спины людей, и при этом в полном безветрии трава между волчицей и бредущими цепью охотниками слегка шевелилась, словно от дуновения приземленного тягуна, образуя белесую полосу. И из этой полосы уходило все живое – порскали в разные стороны мыши, прочь уносились мелкие птахи, и дождем сыпались кузнечики.

В этот миг произошло невероятное: один из охотников, угодивший под странный ветерок, вдруг исчез, в буквальном смысле провалился сквозь землю. Двое других прошли еще несколько метров, остановились и забеспокоились. Крик их стал тревожный, будто у потерявшихся детенышей. Потом они беспорядочно и резво забегали, и теперь уже матерый, замерев у поваленной изгороди, стоял и взирал на человеческую суету.

А они наконец обнаружили пропавшего собрата – на дне глубокого, заброшенного колодца, откуда доносился слабый писк. Веревки у них не было, и тогда люди сорвали провода с накренившегося столба, засунули их вниз, однако спустаться по тонкой проволоке никто не

решился. Увидев странную заминку на земле, вертолет пролетел над их головами и пошел на посадку – почти рядом с логовом.

Первенец все же еще раз выбрался из подпола, но его сшибло в яму потоком воздуха, запылило глаза, забило дыхание, и когда он пришел в себя и проморгался, то снова увидел невозмутимую, равнодушную ко всему происходящему мать, тщательно вылизывающую сразу двух детенышей. Как и первенцу, она снимала родовую боль, чистила глаза, уши и пасти, однако не освобождала от себя, не отпускала на волю, и щенки ползали возле матери, волоча за собой сине-малиновые пуповины.

Вертолет сел, всколыхнулась и мелко задрожала земля, весенний травяной сор и земляная пороша достали подпол, накрыли тучей и на какое-то время скрыли от человеческих глаз все пространство покинутой деревни.

И в этой вселенской мути, поднятой человеком, он почувствовал, как мать начала пожирать послед – вместилище того недавнего счастья и благоденствия, длившегося всего-то два месяца. Хватала жадно, как добычу, втягивала в себя свою плоть и, когда остались лишь тесемки пуповин, на концах которых, как на привязи, вдруг заметались, забились и заскулили детеныши, чувствуя смерть, сделала паузу, проглотила с натугой и решительным, сильным движением челюстей одного за одним отправила в свою утробу только что вылизанных, но не отпущенных щенков.

Косточек еще не было, а если и были, то что-то вроде куриных, мягких хрящиков, и потому, собственно, рожденная добыча исчезла без звука.

Первенец непроизвольно отскочил, будучи свободным, оскалился. Он ненавидел мать; в мгновение ока он сделался зверем, родства не помнящим, ибо еще ни разу не приложился к ее сосцу и существовал той силой, что получил, находясь в ее чреве. Он готов был драться за свою собственную, уже вольную жизнь, принимая ее такой, какая она есть. Он ощерил игольчатые, острейшие зубы, по врожденному, данному матерью же инстинкту борьбы, чтобы вцепиться в горло, не осознавая, что не может даже сомкнуть челюсти из-за длинной, линияющей шерсти.

Он изготовился к смертельной схватке, но сам был схвачен за загривок единственно верным и точным движением. Сильная шея вскинула его высоко над землей – так высоко, как летала воющая, с торчащими стволами машина. И начался полет под прикрытием пыли и сора, поднятых силой человеческой – машиной, способной преодолевать земное притяжение.

Первенец ощущал, как неслась под ним весенняя, поникшая и еще не расцветенная земля. Под материнскими ногами мелькали травы, дорожные колеи, заполненные светлой водой, поникшие заборы, ямы, заросли крапивы и лопухов, и на короткий миг он вновь испытал ощущение радости – точь-в-точь как в утробе, до рождения, когда они уходили от погони человека.

Поднятая винтами пыль и падение охотника в колодец скрыли этот побег, и веселый, торжественный полет продолжался более часа, пока холка, прикушенная материнскими зубами, не онемела и не потеряла чувствительности. Она бросила его на землю и, мгновенно забыв о детеныше, принялась вылизываться сама и кататься по земле, вбирая в себя запахи окружающей местности. Первенец сильно ударился о корневище – захватило дыхание. И как в момент рождения, жгущая боль, только сейчас в груди, охватила его, однако он вытерпел и не заплакал, а от враз прихлынувшей злости стал грызть то, что принесло эту боль, рвать короткий мох и редкую траву, забивая себе гортань. И нажравшись земли, полузадушенный, он засипел, закашлял, а по сути, залаял по-собачьи, отчего шерсть матери на загривке встала дыбом. Она подлетела к первенцу, трепанула за шкуру и ударила о дерево еще сильнее.

Он же приземлился на ноги и зарычал, отхаркивая песок.

В тот же момент с матерью что-то произошло. Выстелившись перед ним, она откинула заднюю лапу, подставляя сосцы. Первенец еще не ведал вкуса молока и, прежде чем ощутить его, вцепился, вгрызся в вымя, жала зубами нежную кожу, готовый порвать материнский

живот. Волчица вздрогнула от боли, заклекотала горлом, однако смирилась и с родовой потугой стала отдавать молозиво. Густая творожная каша, разбавленная кровью, впитывалась в его естество, начиная с языка и до пустого, еще не развернутого желудка. Он тянул ее долго, бросая один и хватая другой сосок, кусал, мял и терзал нежную плоть, пока не опустело вымя. Круглый, бочкообразный, он откатился от матери и мгновенно заснул, но она не оставила в покое – вновь схватила за холку и понесла дальше, спящего.

Древний, необоримый инстинкт толкал ее к поиску безопасного места, каковым могло быть лишь испытанное временем логово, скрытое на длинной, узкой гриве среди огромных зарастающих вырубов и болотистой земли, изрезанной ручьями, – то самое, где волчица сама появилась на свет. А ее место, где она щенилась и несколько лет выхаживала потомство – укромный молодой ельник среди старых порубок близ покинутой людьми деревни, в этом году оказался ненадежным и даже коварным: охотники с вертолета засекли волка, идущего с добычи, но не стали преследовать, а лишь отбили его направление и навели пеших: с воздуха рассмотреть логово было невозможно. Завидя машину, перегруженный пищей волк срыгнул половину мяса, облегчился и стал путать следы, отводя от ельника, но пешие стрелки точно вышли на его след, нашли отрыжку и затаились неподалеку. Матерый же, изрядно покрутив по вырубкам, пришел к волчице, скинул остатки мяса и истекал слюной, наблюдая, как она ест. И потому, утратив осторожность, побежал назад – туда, где оставалась половина отрыгнутой добычи. Он ждал опасности с воздуха, но выстрелы поджидали его на земле: трое стрелков отдуплетились по нему крупной картечью, и от мгновенной смерти спасли густые заросли осинника, принявшие на себя большую часть зарядов. Однако досталось изрядно, от головы до репицы хвоста простегнуло вразброс, так что опрокинуло набок и на короткое мгновение повергло в шок. Крепкий на рану, волк вскочил и порскнул в чащобу – прочь от логова, где волчица готовилась рожать, но охотники не пошли добирать подранка, а с ружьями наперевес направились к ельнику с трех сторон, точно зная, что там добыча более реальная и богатая – волчата. Тогда он сделал еще одну попытку взять людей на себя, пересиливая страх и мерзость, настиг их, обошел стороной и внезапно возник на пути. Еще пара выстрелов сквозь кустарник добавила несколько картечин, из пасти заструилась кровь, сбилось дыхание, но он даже не прибавил шагу – продолжал трусить неторопкой рысью, намереваясь увлечь охотников за собой.

Они же упрямо рвались к логову и бросили его во второй раз...

А волчица в гнезде слышала не только выстрелы – неосторожный хруст валежника под ногами, потаенные шаги и человеческое дыхание с трех сторон, однако сидела под лапником, на кабаньем зимнем ходу до последнего мгновения. И лишь когда все трое почти сошлись в одну точку, сделала стремительный рывок и легко ушла от выстрелов. Еще бы несколько минут, и была бы в полной безопасности – гнать по захлапленному вырубам люди бы не стали, однако за спиной, в небе послышался знакомый, гулкий рев машины...

Теперь память тянула ее в место более надежное, в материнское логово – на лесистую гриву среди верхних болот. Длинный день наконец-то догорел, охотники погрузили в вертолет вынутого из-под земли сотоварища и улетели; впереди было самое удобное место для перехода – серый, призрачный вечер. Не дожидаясь матерого, она подхватила щенка и неспешной рысью, малым ходом пошла на север. Расстояние в сорок верст она могла бы одолеть за несколько часов, но роды ослабили волчицу, к тому же спасительная энергия движения сейчас терялась чуть ли не вполовину, перерабатываясь в молоко.

Едва потухла заря, как спящий детеныш проснулся и недовольно заворчал, показывая рыбы зубы, и вдруг изловчился, выгнулся, будто змея, и вонзил их в щеку. Мать инстинктивно мотнула головой и отшвырнула первенца; перевернувшись в воздухе, тот угодил в муравьиную кучу и тут же был выхвачен обратно. Волчица отнесла его подальше от шевелящегося холмика, откинулась навзничь, подставляя детенышу соски. Молоко, рассчитанное на три голодных рта, истекало произвольно и, путаясь в редкой, мягкой шерсти, капало на землю. Вездесущие, как

люди, насекомые, почуяв сладость, в тот же час накинулись на дармовую пищу, поползли с земли к сосцам, прильнули, выпивая волчью силу, и мать не сгоняла, не стряхивала их, ибо повиновалась древнему закону существования и сожительства многих природных начал.

И не почувствовала, кто высосал из нее больше...

К полуночи она достигла болотной гривы. Не отрывая носа от земли, вдыхая родные запахи и повинаясь их зову, отыскала логово и внезапно легла неподалеку от него: надежное, сакральное место было занято ее матерью с детенышами, и их отец – пришлый волк-одиночка, стоял на страже.

Волчица выпустила первенца, раскинулась перед ним, отдавая молоко, а волк, скрады-вающий гостью, тотчас же оказался рядом, присел, прижал уши, вздыбил холку, затем властно приблизился, обнюхал гостью и немо оскалил матерые, знобкие клыки.

Детеныш ничего не видел и не слышал, занятый продлением жизни и увлеченный пищей; она же, отчаявшись, тоже окрысилась на материнского супруга, но в тихом урчании слышалась мольба о спасении.

Сказано было много и определенно, да только взрослый, сильный самец ничего не хотел знать, показывая ощеренными зубами свою решимость. Мать сдалась без боя, сникла, ослабилась, и ток молока вдруг прекратился, и напрасно первенец кусал и грыз ослабшие, вялые соски. Тогда он озлился, оторвался от вымени и, исполнившись решительности, сделал предупреждающий скачок в сторону чужого зверя. И тут произошло невероятное: матерый волк вскочил, насторожил уши и, склонив голову, воззрился на малого, совершенно немощного соперника. Хватило бы короткого удара челюстей, чтобы перекусить щенка, но защитник логова внезапно отступил назад, прильнул к земле, разглядывая волчонка, после чего подтянул живот и вдруг изрыгнул из себя шмат кровавого, свежего мяса.

И отошел в сторону, глядя со спокойным достоинством. Первенец набросился на отрыжку, да не по зубам было, только вылизал сукровицу и чужой желудочный сок. В тот же миг мать отпихнула сына и в мгновение ока проглотила двухкилограммовый кус.

Это была плата, расчет за спокойствие семьи. Следовало бы уйти восвояси, однако волчица села перед супругом матери и низко, до земли, опустила голову, просила снисхождения перед смертельной угрозой потомству. Он снова ощерился, теперь с явственным предупреждающим рыком, после чего развернулся и со злобной оглядкой потрусил к логову. Впервые волчица дрогнула, жалобно заскулила; тяжкое горе, обрушившееся враз, – бездомность, гибель переярков и прибылых щенков, которых пришлось умертвить, не освободив от пуповины. По сути, пропала охотничья стая, ибо отцом потомства был тоже волк-одиночка, который не изменит своим привычкам и к осени покинет ее; безрадостное будущее – все до кучи, придавило ее к земле, заставило на какой-то срок забыть о детеныше. Тот же, не ведая еще никаких разочарований, кроме огненной боли в момент рождения и голода, нюхал землю вокруг матери и отфыркивал запах чужих следов, отчего шерсть на загривке сама собой становилась дыбом.

По-бабьи наревевшись, она натужно поднялась, уныло посмотрела в разные стороны, послушала ночных птиц и вдруг решила – принялась лизать первенца, приглаживая вздыбленную холку, мокрую от росы мордашку и подхвостье. Он сунулся было ей под брюхо, к сосцам, но резкий толчок носом откинул щенка в сторону. Тогда первенец сделал еще одну настойчивую попытку, зайдя сзади, и почти достал вымя и снова был отстранен недружелюбно и жестко.

И при этом материнский язык продолжал ласкать, умиротворять его, скользя вокруг шеи и ушей.

Тут он внезапно понял и причину смены отношения волчицы, и эти ее прощальные ласки – отскочил, ощерился, как недавно матерый зверь. Он готов был сражаться с матерью! Он протестовал против великой несправедливости – быть умерщвленным тем, кто дал жизнь!

Она же играючи придавила детеныша лапой к мягкой, болотной земле, вылизала брюшко, словно говоря, что смерть эта – реальная необходимость и будет мгновенной, легкой, в момент ласки и блаженства. Первенец сжался в комок, дернулся, вдавился в мох и вывернулся из-под лапы.

В тот миг свершилось чудо – он прозрел до срока. Прозрел и увидел звериный оскал матери.

Он барахтался, сучил лапами, отмахивая смерть, а она надвигалась, такая же болезненная и неотвратимая, как рождение. Но что-то случилось, произошло непредвиденное: волчица внезапно оставила первенца, легко перемахнула через него и замерла в боевой стойке.

Детеныш встал на лапы – матерый зверь вернулся, исполненный решимости и злобы. Он шел на волчицу, ступая расслабленно, мягко и тем самым скрывал мгновенную и мощную силу броска. Мать вынужденно пятилась, прижимая уши, и неуклюже натыкалась задом на кусты и деревья, на какой-то момент они оба забыли о щенке, и он предусмотрительно отполз в сторону, предчувствуя схватку. Волк выбрал мгновение, превратился в бугристый ком молниеносной энергии и прыгнул. Казалось, всего лишь прикоснулся к матери и тотчас же отскочил, но первенец сразу же почувствовал запах крови. Волчица жалобно простонала и, прижимаясь к земле, поползла в кочки; из вспоротого живота, словно пуповина, тащились выпущенные кишки.

А зверь тем временем потянул носом воздух и той же крадущейся походкой направился к детенышу.

От чужака исходил запах смерти. И как ни странно, он был похож на запах пробуждающейся весенней земли...

Волк остановился на расстоянии прыжка, словно взвешивая свои возможности – ударить, как и положено в бою с противником, в броске или просто подойти, задавить щенка и принести его своим детям для игр.

Звереныш отфыркнул пугающе мерзкий запах смерти и зарычал.

Должно быть, это показалось матерому волку забавным, и он ответил угрожающим рыком, стараясь вызвать страх. И вызвал. Но от страха только что прозревший детеныш ощутил в себе истинную волчью дерзость и безрассудство. Еще немощное, слабоуправляемое тело налилось силой, щемящая, жгучая ярость, сходная с болью от рождения и первого вдоха, охватила его и толкнула вперед. Прыгнул он неловко, недалеко и сразу же провалился в зыбкий мох, однако этот слабый скачок заставил опытного зверя встать в боевую стойку. Прижав уши и оскалившись, он чуть сдал назад, напряг лапы, готовый одолеть последние метры одним броском и повергнуть противника. И это уже была не игра – готовилась настоящая схватка!

Но в тот миг откуда-то сбоку внезапной искристой стрелой, не касаясь земли, вылетела волчица и намертво захватила холку матерого волка. Он не ожидал нападения, сосредоточившись на детеныше, и потому опрокинулся; серый сгусток энергии мышц и дребезжащего звериного крика подкатился к волчонку. Мать стремилась перехватить за горло, и тогда бы больше не разжимала челюстей до последнего, судорожного толчка агонии, однако противник только и ждал этого, чтобы вырваться из насмерть закушенных на шее клыков. Она делала стремительные и короткие движения челюстями, передвигаясь вниз, и лишь грызла, жевала сильную, мускулистую шею врага. А тот, в свою очередь, изматывал волчицу, заставляя ее много двигаться вслед за ним и вытаскивать, выматывать из себя кишечник.

Повинуясь собственной ярости и немощности тела, неспособный вступить в эту борьбу и помочь матери, детеныш вскинул голову и завыл, тем самым враз оборвав пение ночных птиц.

Битва длилась около получаса в полной тишине худого болотного леса. Наконец матерый вывернулся из мертвой хватки, но для ответной атаки уже не оставалось сил, поскольку изжеванные мышцы шеи больше не держали голову. Волк огрызнулся и тяжело потрусил в сторону логова.

А мать еще долго стояла, слушая вой детеныша, и качалась от усталости. Затем сделала несколько шагов на этот голос, однако вывалившиеся потроха цеплялись за кусты и корневища, мешая двигаться. Тогда она решительно легла набок, изогнулась и отгрызла волочащиеся по земле кишки, освободившись, как от пуповины. И, легко уже вскочив, схватила первенца и потрусилась прочь – через болото, в ту сторону, откуда пришла.

По дороге она часто роняла щенка – не держали челюсти – и потому ложилась, переводя дух и зализывая вспоротый живот, а волчонок, пользуясь случаем, припадал к сосцам и тянул молоко напополам с материнской кровью. Делал это жадно, впрок, чувствуя, как из кормилицы медленно улетучивается жизнь. Ведомая инстинктом, она возвращалась на старое место – в ельники среди вырубов, где было ее многолетнее и когда-то безопасное логово и откуда вчерашним утром ее выгнали охотники.

Другого места у нее уже не оставалось на земле...

Перед рассветом, когда смолкли ночные и заговорили дневные птицы, она добралась до края выруба и, передохнув в последний раз, поползла к ельникам, служившим в зимнее время пристанищем для кабанов. Дышать становилось все труднее, мешал детеныш, зажатый в зубах, но теперь, зная свою скорую кончину, она не выпускала его больше, хотя он рвался и кусал за щеки.

На опушке леса над головой появился первый ворон, сделал круг, снизился и издал такой знакомый вопль, указывающий на добычу. Пока она была жива и держала первенца, он не мог стать птичьим кормом, и потому мать ползла вперед, захлебываясь воздухом.

Ворон удалился и скоро привел за собой около десятка сородичей. Стая облетела выруб, точно рассчитала место, где из волчицы вылетит дух, и расселась на сухостой, пни и колодник. В прошлом верные союзники по добыче мяса теперь готовились поделить между собой того, кто часто добывал им пищу – загонял и резал лосей, кабанов и домашний скот.

В природе ничего не могло пропасть даром...

В это время и появился матерый отец семейства. Покружив возле лежащей волчицы, он срыгнул добычу – разорванного пополам зайца – и лег в стороне зализывать свои раны. Волчица приподнялась, понюхала пищу и молчаливо отвернулась. Он же оставил свое занятие, вскинув голову, посмотрел недовольно и жестко, потом заворчал: если самка не брала корм, добытый волком, это значило одно – полную потерю потомства.

Матерый еще раз обошел волчицу, выискивая запах щенка, и обнаружил его спящим под елью. Потом наконец-то поднял голову, озирая рассеявшихся по сухостоинам птиц, и все понял. Он был сам несколько раз ранен, и собственная боль притушила природную прозорливость, и потому, словно искупая вину свою, волк подполз к матери, обнюхал ее и только сейчас обнаружил разорванную брюшину. Лизнул несколько раз, но она отогнала волка, немо окрысившись, показывая, что рана смертельная.

Матерый попятился, сел и, вскинув морду, заскулил, пробуя голос. В волчьих глазах закипали слезы, и плач готов был вырваться из его глотки, однако самка заворчала на него с клеветой и яростью – запрещала делать это вблизи логова. Тогда он поджал хвост и с низко опущенной, скорбной головой побрел, затем потрусил прочь от ельников. И чем дальше уходил, тем больше набирал скорость и вот уже понесся крупными скачками, как за добычей, легко махая через колодины и завалы. Он бежал не дыша и на то расстояние, насколько хватило воздуха в легких и силы в мышцах. Он боялся разжать зубы, чтобы не вырвался зажатый в гортани плач...

Едва волк исчез из виду, как вороны тут же опустились подле гибнущего зверя и стали расклеивать его пищу – оторванного зайца. Рвали жадно, в драку, давились костями и большими кусками, в несколько минут уничтожив все без остатка. Она же смотрела на это спокойно, набираясь сил для последнего рывка к логову. Потом сунулась под ель, взяла детеныша и двинулась дальше, к спасительным ельникам, где воронам не взять волчонка. Предошущение

близкой смерти подавило разум, и она уже не осознавала того, что потомство таким образом не уберечь, не спасти, что первенца ожидает простая гибель от голода, ибо никто не накормит волчонка, не даст ему приложиться к сосцам, однако ничто не могло подавить материнский инстинкт, впрямую связанный с инстинктом продления рода.

Бывшие сотрапезники пошли следом, перелетая с пня на пень или вовсе по земле, короткими прыжками и в непосредственной близости. Между тем рассвело, над вырубамися поднялось красное зарево, потом взошло неяркое солнце – она все ползла, едва переваливаясь через колодник. Вечный вороний голод подгонял птиц, делал их смелее, нахальнее, и они уже вышагивали следом, склевывая окровавленные следы. Почти у границы ельника мать завалилась набок, поскребла лапами прелый лист и затихла, зубы разжались. Первенец тотчас же выскользнул из них, заурчал сердито и, встряхнувшись, бросился к сосцам. Молоко истекло само собой, но уже не от переизбытка его...

В этот час над утренней землей возвысился и полетел во все стороны света печальный волчий плач. И скорбная мелодия его, одна для всего живого, одна для всего мира, была понятна всем, и в том числе человеку, ибо так сильно напоминала древние похоронные плачи-причеты над покойными.

И в этом проявлении чувств наконец-то в первый и последний раз соединились и примирились вечные враги...

А черные птицы встали кругом, но пока еще не подошли – переговаривались в предвкушении пищи и тоже слушали плачущий вой матерого. Несколько минут детеныш терзал вялое подбрюшье, пока вместо молока не пошла чистая, густеющая, как молозиво, кровь. Первенец недовольно рыкнул, и в этот момент мертвая волчица схватила его поперек туловища, резво вскочила и произвела стремительный рывок к ельнику, чем мгновенно испугнула воронье. Стая тотчас же взметнулась, загорланила встревоженно, роняя помет, а мать подломилась на бегу у крайней, развесистой ели, ткнулась мордой в прошлогоднюю траву, и волчонок на сей раз кубарем вылетел из материнской пасти.

И впервые в жизни заскулил, вдруг почувствовав свое полное одиночество на земле. Некрепкий его голос, будто настраиваясь по камертону отцовского плача, чуть возвысился и скоро слился с ним где-то высоко над землей, образуя стереоэффект.

Слушая этот оркестр, замерли и онемели утренние птицы, прекратилось всякое движение на земле, оцепенела всякая живая тварь и даже муравьи замедлили свой бег на некоторое время, усиленно шевеля усиками и выслушивая не звуки – энергию пространства.

Потом все ожило, зашевелилось и запело в округе, но неведомое чувство одиночества и полной, теперь не желаемой свободы, обернулось неожиданным образом – пробудило разум и страх одновременно. Волчонок заполз кабаньей тропой в гущу мелкого, осадистого ельника и замолк, боясь дыхнуть. Он видел, как птицы вновь приземлились, теперь уже на неподвижный труп, и старый, с затасканным пером ворон совершил ритуальное действие – двумя точными, сильными ударами выклевал волчьих глаза, после чего сунулся в разверзнувшуюся огромную рану на брюхе, исследовал ее и отошел в сторону: готовой пищи – внутренностей – на сей раз не осталось.

И ни вожак стаи, ни кто другой не посмели больше и разу клюнуть остывающую волчицу. Удовлетворенные птицы расселись подле нее и замерли в напряженном, стоическом ожидании.

Полная неподвижность делала их похожими на обугленные головни. Эта траурная, похоронная команда не сошла с места и не шевельнулась, когда вдруг налетел ветер и из небольшой, клочковатой тучи ударил короткий и сильный дождь, потом начало жечь и парить обнажившееся солнце, почуяв неуловимый запах мертвечины, стали слетаться жуки-могильщики, постоянно живущие при волчьем логове.

Птицы будто сами омертвели, поджидая поры, когда созреет пища.

Насосавшийся в последний раз волчонок дремал, спрятавшись под елями, когда вдруг послышался резкий и одновременный треск крыльев. Вороны взлетали с криком, подавая сигнал опасности всему живому – и маленькому зверенышу тоже. Он заполз в рытвину, оставленную кабанами, наострил уши, нюхая воздух.

И сразу же обнаружил приближение людей; они шли, переговариваясь, и речь их напоминала клекочущий птичий язык. Вороны же орали над их головами, выписывая беспорядочные, возмущенные круги, пока с земли не раздался выстрел. Облезлая птица, исполнившая ритуал, рухнула на землю возле трупа и поползла в сторону, как недавно ползла волчица. Предсмертный ее крик бил по ушам, заставляя стаю орать еще громче, а звереныша ежиться и вбуравливаться в землю. Еще один выстрел разом оборвал этот голос.

Человек даже не притронулся к своей добыче, разве что брезгливо пнул ее, загоняя под выворотень, и приблизился к трупу волчицы. Проклекотал что-то своему напарнику, засмеялся. Вдвоем они положили мертвого зверя на спину и стали осматривать, потянуло сладковатым дымом, речь их сделалась слышнее, гуще и веселее.

Первенец видел, как его мать вздернули на дыбу, привязав задние ноги к склоненному аркой дереву, и принялись сдирать шкуру. Это был тоже ритуал, только человеческий: работали не спеша, со вкусом, но молча, и один из них, с шерстью на лице, часто прикладывался к сосцу – пузатой фляжке, после чего становился еще молчаливее.

Наконец второй, гололицый, спрятал нож, хотя шкура еще висела на голове волчицы, прихватил ружье и направился в ельник, а первый, завершая работу, завыл протяжно и отчего-то безрадостно – а должен был бы победно, коль людям выдалась удача.

Слушая этот печальный голос, волчонок выбрался из укрытия, высунул морду из-под ветвей; он ощущал голод, пугающее одиночество и беззащитность; это была его песня, и, повинувшись своему состоянию, он подтянул негромким, но чувственным подголоском. Воющий человек с шерстью на лице не мог его услышать, занятый разделкой добычи, да и сейчас первенца не заботила собственная безопасность, ибо само пение приводило его в особое трепетное оцепенение, когда ничего, кроме высокого льющегося звука, в мире не существует.

Подвывая человеческой песне, он выкарабкался на полусгнившую моховую валежину и вознесся бы еще выше, если б смог и было куда. Вскинув голову, он пел, как мог, зато истово и самозабвенно, почему и не заметил, как на его голос вышел гололицый человек, осторожно подкрался и снял куртку. Но прежде чем набросить ее на волчонка, стоял и слушал, будто не хотел портить песню. И едва звук угас, как сверху упало что-то плотное и темное, обволокло со всех сторон, парализовало всякое движение.

Запах случайного логова – ямы от подпола – знакомый с первого мгновения, как явился на свет, и нестерпимо мерзкий, охватил первенца еще плотнее, чем брезент куртки, проник в ноздри, легкие, впитался в кровь и достал сердца. Он пытался отфыркнуть его, исторгнуть из своего существа, однако запах этот был подавляющим и вездесущим...

3

Интерес к этой охоте у Ражного пропал в первый же день, когда поляки сначала отказались от классических способов охоты на логове – оклада флажками и подманивания волков на утренней и вечерней вабе, – а потом заявили, что отстреливать хищников станут с вертолета, на котором прилетели.

Зимой еще куда ни шло, хотя Ражный как президент клуба был противником такой неспортивной охоты, а в начале лета, в зеленом лесу с воздуха и коня-то вряд ли увидишь. Но спорить с панами не стал, понимая, что те попросту не желают ломать ног по старым вырубам и чащобам, а хотят красиво и с ветерком полетать и пострелять.

Ну и на здоровье! Таковы и трофеи будут...

Можно сказать, полякам еще повезло: стронутая с логова волчья семья не исчезла в зеленке, а почему-то завертелась на территории брошенной деревни, не совсем заросшей и хорошо просматриваемой с вертолета. Отстреляли двух переярков, ранили матерого и, пожалуй, взяли бы волчицу с прибылыми, если уже разродилась, не провались один из панов в старый колодец. Поиск зверей пришлось прекратить и вернуться на базу, а надо было во что бы то ни стало добирать подстреленного волка, иначе начнет мстить за разорение гнезда и наделает беды.

Оставив гостей, Ражный вечером сходил на вабу, потрубил в ламповое стекло голосом волчицы, и матерый отозвался почти мгновенно, причем в районе логова. Это вселило надежду: если за ночь не уйдут, то рано утром можно расставить стрелков по лазам и тропам и взять волков на вабу.

Возвращаясь в сумерках из леса, неподалеку от базы на старом проселке он встретил человека в современных американских джинсах и белой рубашке навывпуск, перетянутой широким кожаным поясом с серебряными бляхами.

У Ражного тоже была такая рубашка и пояс, хранящиеся после смерти отца в его сундуке.

Это был соперник, давно ожидаемый и пришедший все-таки неожиданно...

– Здравствуй, Ражный, – сказал он и подал руку. – Я Колеватый.

– Здорово, Колеватый. – И сразу же отметил, что поединщик серьезный, сильный и лишь немного обеспокоенный, отчего и пытается давить психологически с первого прикосновения к сопернику – чуть крепче, чем полагается, сжал руку.

– Когда и где? – спросил пришедший аракс.

– В моей вотчине, – уклонился от прямого ответа Ражный. – Но сейчас связан гостями, поляки приехали на волчье логово. Завтра к вечеру уберутся. Встретимся здесь же и обговорим условия.

– Добро, – согласился тот. – Прими дар, вотчинник! Жеребчика тебе привел!

За поворотом проселка стоял новенький дизельный джип «Ниссан Террано»...

Ражный внутренне собрался, будто в боевую стойку встал: судя по такому дару, схватка для Колеватого была решающей. И сразу же возникло много вопросов, а один будто спицей проколол сознание: почему Пересвет определил в противники опытному, не раз бывавшему на ристалищах поединщику его, еще только затевающего Пир – первую в жизни схватку?

И ответ находился двоякий: или боярый муж считает, что коль Ражный – внук Ерофея, то способен одолеть Колеватого, или не забыл дерзости его и потешного поединка в Валдайском Урочище и теперь решил наказать, поставить на место.

Потом нашлось еще одно предположение: калики говорили, будто Ослаб или его опричина пытаются взять в руки слишком самостоятельных вотчинников и давят на Пересвета, чтоб тот выставял против пирующих хозяев Урочищ таких поединщиков, которые в два счета уложат молодого аракса. Да еще на собственной земле...

Сам Ослаб был из вольных и, по словам сирых, не благоволил к вотчинникам...

От даров отказываться было не принято, впрочем, как и обсуждать достоинства и недостатки. Мало того, принимать их следовало без всякого выражения чувств, дабы соперник не мог понять, что он означает для вотчинника. А Колеватый незаметно и пристально, словно скальпелем, вскрывал глазами Ражного, намереваясь заглянуть внутрь...

– Благодарствую, – по обряду сказал Ражный и добавил от себя, прямо взглянув сопернику в глаза: – Отдарюсь после Поруки!

– Ты сначала получи эту Поруку! – усмехнулся тот. – А дар я приму!

До поединка вне ристалища им можно было прикоснуться друг к другу, лишь здороваясь за руку, но Колеватый хотел было хлопнуть его по плечу – так, дружески, по обыкновенной в мирской жизни привычке, – Ражный увернулся в последний миг. Мощная десница соперника похлопала воздух.

– Ну что? Расходимся, гость дорогой? – спросил Ражный, направляясь к джипу.

– Да рано еще... Покажи Рощу. Если недалече...

Колеватый хитрил или рассчитывал на простоту своего соперника: заранее показать дубовое Урочище – обеспечить ему половину победы. Он там дневать и ночевать будет, он там всю землю руками ощупает, сквозь пальцы пропустит, каждое дерево обнимет и обласкает...

– А ты не спеши. – Ражный валял дурака. – Я еще там не прибрался. Провожу поляков, возьму грабельки, метелку с совком, желуди смету, чтоб спину не давили...

Тот все понял, но никак не выразил своих чувств, лишь добро усмехнулся и пожал могучими плечами.

– Как хочешь, я во времени не ограничен. Ты вотчинник, а потому – как скажешь.

– Тогда завтра увидимся. – Теперь Ражный подал ему руку. – Кстати, как с ночлегом?

– В город вернусь, в гостиницу, – просто ответил Колеватый. – Меня машина ждет, тут недалеко, на дороге.

Вольный аракс снял пояс, рубаху, спрятал все в сумку и переделся в майку и джинсовую куртку.

– Ну, будь здоров! – махнул рукой и подался восвояси.

Ражный поднес ламповое стекло к губам и провабил ему вслед матерым зверем. Поединщик даже на мгновение не приостановил шага – не то что не обернулся; его невозмутимость и спокойствие говорили о главном – Колеватый был крепким на рану, как бронированный старый кабан...

Утром капризные поляки вообще отказались ходить по земле, кивая на своего товарища с порванными связками голеностопного сустава, и заявили, что охотиться станут только с вертолета. И тогда Ражный решил подстраховаться, уйти к логову до рассвета и там взять волка на вабу, ну а с волчицей и прибылыми уж как получится. Так будет скорее и надежнее, ибо поединщик ждет, хотя и говорит, что во времени не ограничен. Кто его знает, вдруг примет отсрочки и оттяжки во времени за психологическое давление и сам начнет давить.

А до поединка Ражному действительно нужно было «прибраться» – закончить все текущие дела, снять всякое стороннее давление в виде забот и хлопот и внутренне сосредоточиться только на предстоящем поединке. Так что он составил мысленный график, расставив свои дела в строгую очередность.

Первым пунктом значилось взять матерого, вторым – освободиться от польских охотников и только третьим – наказать Кудеяра. Начало и конец у этого плана довольно легко соединялись, и, отправляясь на логово, он рассчитывал убить двух зайцев, прихватив с собой приبلудного раба, тайно живущего на базе.

Однако расчет не оправдался: волк не ответил на вабу, и когда Ражный уже решил, что матерого в окрестностях логова нет, вдруг затянул прощальную песню, и этот звериный плач врезался в слух и сознание, как осколок стекла...

Сняв шкуру с мертвой волчицы, Ражный вывернул ее мездрой наружу, вырубил подходящую рогатину вместо пята и натянул; когда еще прилетят польские паны – неизвестно, и прилетят ли вообще, а в такую жару, скомканная в рюкзаке, она сопреет за несколько часов – соли с собой нет. Вообще-то весенняя, линялая волчица как мех никуда не годилась, разве что у порога постелить вместо половика, к тому же дыра на боку расхвачена не по месту, по всей видимости, в драке. Поляки ее не возьмут – слишком чванливы, чтобы брать чужой трофей. К тому же им волчонок нужен, не шкура, а для получения премии за отстрел волчицы достаточно было предъявить голову, лапы и шмат кожи с брюха, на котором видны оттянутые соски. Да, экземпляр попался редкий, невиданный – величиной с матерого самца и весом под шестьдесят килограммов. Не вымя, так бы и сроду не подумать, что самка.

Витюля потом выделает и продаст иностранцам, придумав леденящую душу историю.

Ражный не надеялся отыскать волчат. Когда сведущий в биологии Кудеяр осматривал погибшую от раны самку, сразу же обнаружил, что нет кишечника. В брюхе остались желудок, печень и еще не сократившаяся матка – все остальное вымотано и отрезано волчьими зубами, а не расклевано вороньем, как думали вначале.

В желудке оказались непереваренный кусок мяса и два новорожденных детеныша: таким образом волчицы регулировали поголовье и оставляли жить самых сильных волчат и столько, сколько могли прокормить и вырастить. Конечно, сомнительно, что крупная, матерая самка оценилась только двумя, но будь еще волчата – тут бы, у трупа, вертелись, пока не сдохли и не стали бы добычей воронья. А судя по всему, волчица погибла пару часов назад. И все-таки для очистки совести Ражный заставил Кудеяра копать яму, чтобы не дать поживы воронью, а сам побрел по ельникам, к логову.

Осторожно пробираясь сквозь завалы к ручью, он снова услышал волчий плач, и чтобы не сосредоточиваться на нем, чтобы заглушить его скорбящую мелодию, он замычал современный мотивчик, однако звериный голос все равно накладывался, звучал сильнее и явственней. Тогда он попробовал размышлять вслух относительно вчерашней вертолетной охоты на логове, ругал поляков, один из которых вывихнул ногу и порвал связки, провалившись в колодец.

Ражный часто разговаривал сам с собой, оставаясь один, потому что на людях больше молчал, и это помогало выстроить мысли, психологически уравновеситься; тут почему-то и такой способ не помогал. Прощальная песня матерого, упущенного вчера так бездарно и глупо, оказывалась сверху и притягивала воображение. На какое-то время он забыл даже о поединчике и предстоящей схватке – первой в жизни схватке в дубовой роще! – к которой теперь следовало готовиться ежеминутно.

Он прислушался, стараясь определить, откуда же доносится волчий вой, и внезапно обнаружил, что в мире тихо, а звериный плач звучит в нем, запечатленный слухом, как магнитолной лентой.

Потом он услышал, как за спиной заволновалось воронье, стерегущее свою долю, – значит, Кудеяр свалил тушу волчицы в яму. Он ненавидел этих птиц, вид и крик их вызывали омерзение и близкое, тайное ощущение смерти, сейчас еще более усиленное волчьим голосом.

Пять лет назад прапорщик Ражный, боец спецназа погранвойск, сидел среди камней на таджикской границе с огромной раной – осколком мины вынесло два ребра в правый бок, подавал сигналы SOS и боролся с птицами. В полусотне метров от него на жутком солнцепеке лежал срочник-погранец Анвар, которому досталось больше, и потому воронье уже обрабатывало его кости. Это было жуткое зрелище: резиново-прочные, беспощадные голодные птицы падали на человеческое тело так густо, что вместо Анвара образовывался черный шевеля-

щийся курган. Ражному чудилось, что это уже не вороны, не те, воспетые в воинских песнях птицы, а крупные насекомые, что-то вроде жучков-могильников, только крупнее в сотни раз. Он дважды засадил из подствольника по этому кургану и понял безнадежность такого занятия. Воронье взлетало, словно показывая результат своего труда, и снова облепляло труп, вернее, просвечивающуюся насквозь ребристую грудную клетку, так похожую на птичью...

Стрелять по ним прицельно он уже не мог, да и не отогнать их было пулями, потому бил по скопищам воронья из подствольного гранатомета, однако выстрела хватало на три минуты, не больше. Птицы дожрали Анвара и теперь приговорили на съедение Ражного. Прапорщик понимал: стоит потерять сознание или кончатся гранаты – начнут расклеивать, не дожидаясь смерти. В полубреду он пытался контролировать время и, закрывая от слабости глаза, считал до семидесяти, после чего наугад наводил автомат на скопище и нажимал гашетку. За минуту забытья воронье приближалось на расстояние вытянутой руки...

И ни разу не промазал. Такого обилия этих ангелов смерти, пожалуй, не было ни в одной точке земного шара. После каждой гранаты до десятка воронов превращалось в черные лохмотья, но на смену им прилетало еще больше.

На этих птиц не охотились ни люди, ни звери, и сами они не расклеивали трупы павших своих сородичей.

Они были несъедобны и потому вечны. Когда за раненым прапорщиком пришел вертолет, пилоты побоялись сажать машину в непосредственной близости: на каменном склоне валялось десятка три душманских трупов – это то, что они наколотили в паре с Анваром, и поднятая винтами черная туча в буквальном смысле закрыла небо.

Воронье в тех краях размножалось и жирело от долгой войны...

Три эти птицы сидели сейчас на сухой ели низко от земли и внимательно наблюдали за движением человека, не забывая коситься под дерево. Чего-то ждали...

Ражный отвернул в сторону и пошел прямо на сухую елку – вороны нехотя взлетели, закричали недовольно, заругались, что отнимают добычу.

Волчонок сидел на корневище и подпевал отцу. Он даже не дернулся, когда оказался в человеческих руках, ибо взят был за холку, как носила его мать.

– Вот ты где, брат... А от мамыши твоей одна шкура осталась...

Щенок открыл глаза, чем удивил человека.

– Интересно... Пуповина не отсохла, а смотришь.

Щенок тихо заурчал. Ражный крепче взял за загривок и тут увидел тонкие молочные зубы в пасти звереныша.

– И еще с клыками... Да ты, брат, вундеркинд.

Волчонок или властную руку почувствовал, или посчитал, что взят материнскими зубами – обвис, вытянув лапы. Взгляд щенка был уже осмысленным, реагировал на движение и предметы – знать, давно освоился с окружающим миром.

– Ладно... А где твои братья-сестры? Или всех мамаша подъела?

Вороны кружили над головой: их добыча сейчас была в руках человека. Ражный понаблюдал за их полетом, сунул в карман волчонка.

– Значит, подъела... Такая здоровая, а всего троих родила и только одного тебя оставила. Видно, не зря говорят: чем меньше рождаемость, тем выше организация и интеллект. Пошли, что ли?

Звереныш чуть поволохался в кармане и затих. Кудеяр почти зарыл волчицу, однако, заметив хозяина, бросил лопату и сел. Ражный сдернул с него брезентовую куртку, завернул щенка и, завязав узлом, положил на колодину. Раб тут же оказался рядом, просунул руку в узелок, погладил волчонка, не вынимая.

– Какая мягкая шерстка. Плюшевый... Вы что с ним станете делать, хозяин?

Ражный не удостоил его ответом, ибо сам не знал, что теперь делать с волчонком. Конечно, надо бы отдать полякам, да почему-то чувствовал нарастающий внутренний протест, в основном продиктованный обидой, что упустили они вчера матерого и теперь добавили ему работы перед поединком.

Пользуясь молчанием, раб достал щенка, заглянул в пасть, осмотрел снаружи.

– Редкий случай, – заключил равнодушно. – Пуповина свежая, а глаза открылись... Как это понимать, президент?

И вдруг как-то странно пискнул, отшвырнул щенка и зажал основание большого пальца.

– Вот сука!.. И зубы есть! – Кудеяр тут же справился с собственным испугом, взял привычный саркастический тон. – Как считаете, волчата могут быть бешеными от рождения? Как люди, например?

Ражный не удостоил его ответом, сунул детеныша назад в куртку, застегнул «молнию», завязал в узел, после чего бросил лопатку.

– Трудись.

Кудеяр усмехнулся в бороду и промолчал, четко зная черту в их отношениях, переступить которую не следует, ковырнул землю. Птицы, зревшие коварство, возмущенно сорвались со своих мест и с клетотом возреяли над головами. Ражный подтянул к себе ружье, но пожалел картечь – дробовых патронов в патронташе не оставалось...

Напарник насыпал зачем-то холмик над могилой и, как всякий раб, работающий из-под палки и по приказам, дело до конца не довел.

– Утрамбуй землю и привали сверху камнями, – распорядился Ражный.

– А на хрен это надо? – утомленный жарой и потому ленивый, спросил Кудеяр. – Экология, что ли? Да кто сюда придет?..

Чтобы прекратить «разговорчики в строю», когда-то хватало одного взгляда; теперь невольник распоясался и будто бы не замечал, что хозяин тихо вскипает.

Ражный молча дал пинка в тощую задницу. Кудеяр зарылся головой в мелкий густой ельник, но тут же вскочил, поклонился.

– А, да!.. Прошу прощения, президент. Слушаюсь...

И опять же кое-как примял ногами холмик, поплелся выковыривать камни из земли.

Кудеяр в последнее время начал смелеть, и, если пока еще не нарушал условий договора, то в речи его Ражный все чаще слышал издевательский тон. Поставить на место его можно было в любой момент и за малейшее своеволие – бывший прапорщик знал много лекарств от наглости, однако оттягивал время, поджидая тот случай, когда невольник утратит бдительность, нарвется окончательно и когда сделать это можно изящно, со вкусом, один раз и навсегда. Он ненавидел своего раба, презирал его прошлый и нынешний образ жизни, былую ученость, подвижный, с налетом ржавого цинизма, ум, поскольку все это являлось флером, туманом, прикрывающим примитивную, трусливую натуру. С точки зрения Ражного, его было бессмысленно перевоспитывать либо прививать какие-то достойные человека, благородные качества. Он был раб от природы, ибо уважал только силу и перед ней преклонялся, даже если при том держал фигу в кармане. И как всякий раб, так или иначе получив власть, становился неумолимым и жестоким, но стоило ему почувствовать силу, как он мгновенно становился самим собой и готов был сапоги лизать.

И это неприятное общение с рабом неожиданно излечило: волчий плач забылся, пленка стерлась, не оставив даже воспоминания скорбной мелодии. Но теперь мысли занял Кудеяр, от которого перед поединком следовало избавиться, как от мерзкого раба, негодного человека и души, все-таки зависимой от воли Ражного.

Первая в жизни схватка в дубраве вполне могла оказаться и последней, то есть окончиться славной, но смертью, и по древнему правилу он не мог оставить после себя хотя бы одну зависимую душу – жену, ребенка, возлюбленную или пленника-раба, приведенного с чужбины.

Поэтому до первого поединка Ражный не имел права жениться, заводить детей, хозяйство и рабов...

Кудеяр прибился на охотничью базу прошлой осенью, и Ражный до сих пор не знал его настоящего имени, что, впрочем, было не особенно интересно.

Однажды он приехал из города (проводил на поезд группу иностранцев) и увидел выбитые стекла и пострелянные стены, а сторож – сорокалетний мужик, бывший классный сварщик и Герой Соцтруда, а ныне тихий алкоголик Витюля, оказался в таком сильном возбуждении и страхе, что поначалу ничего не мог добиться от него и потому сам осмотрел базу: из кладовой и морозильной камеры исчезли продукты, палатка, меховой спальник мешок и совсем странно – икона Сергия Радонежского из зала трофеев. Сторож был хоть и храбр на словах, чуть выпив, стучал себя в грудь и Золотую Звезду показывал, однако на рожон не полез, и когда к охотничьей базе подрулила иномарка, а оттуда вышел бандит с автоматом, смекнул, что в открытом бою проиграет, потому взял свою одностволку и спрятался на чердаке, осторожно замкнув входную дверь на внутренний замок.

А бандит, видимо, знал, что хозяина нет, потому вел себя дерзко и нагло – выломал окно, влез в дом и стал хозяйничать, выбрасывая на улицу и складывая в машину все, что понравилось. В последнюю очередь снял со стены икону, и когда вылез с нею на улицу, сторож наконец пришел в себя, прицелился и всадил ему заряд дроби в задницу. Разбойник сначала упал, заорал и пополз за машину. Витюля перезарядил ружье и выстрелил по капоту иномарки, но бандит пришел в себя и открыл ответный огонь – выбил окна, изрешетил железную крышу, после чего заполз в машину и поехал со двора. Сторож ударил по нему еще раз, выставил заднее стекло, но нападавший умчался по проселку и на развилке повернул не к городу, а в обратную сторону – к брошенному лесоучастку – это было хорошо видно с чердака.

Герой Соцтруда побоялся спускаться вниз, а лишь принес патронов с пулями и картечью и засел у слухового окна.

– Кудеяр! – восклицал он, не в силах справиться с волнением. – Истинный Кудеяр! Среди бела дня на такое?!

Это происшествие показалось Ражному странным: грабить охотничью базу не имело смысла – денег нет, оружие вывезли и сдали в милицию на хранение, да и вообще ничего ценного: даже икона была новая, конца прошлого века. Судя по похищенным вещам, бандит жил не очень далеко и бедствовал в осеннем холодном лесу. Ущерб от нападения был не великий – в конце концов, и «Кудеяру» досталось: на земле, где стояла его машина, остались сгустки крови, битое стекло, и можно бы считать, что были с налетчиком в расчете, но еще тогда Ражный заподозрил – а не приглядывать ли за ним приставили этого человека?

Оставив все дела, он занялся поисками и через пару дней обнаружил старенькую, простреленную дробью «БМВ», замаскированную на зарастающей лесовозной дороге в двадцати километрах от базы, и сел в засаду. Еще через пару дней кончились продукты, да и похолодало, так что Ражный решил оставить Кудеяра до первого снежка, когда тот сам выберется из своего логова и наследит.

Первый снег выпал через неделю, и Ражный, прихватив с собой оруженосца Витюлю (носил карабин на случай встречи с крупным зверем), пару гончих, специально отправился в тот район потропить зайцев. И скоро гончаки вдруг залаяли на одном месте, будто по крупному зверю.

– Лось! Лося держат! – возликовал неунывающий Витюля.

Несведущего Героя пришлось урезонить, ибо вместо лося там мог быть тот самый Кудеяр с «калашниковым»...

Так оно и оказалось. Только бандит не смог даже самостоятельно выползти из палатки, присыпанной снегом. Дробовой заряд попал ему в область анального отверстия, задница распухла, начиналось заражение крови, и Кудеяр валялся с высокой температурой и в полусозна-

тельном состоянии. Автомат у него был под рукой, и, несмотря на помрачение ума, он все-таки попытался поднять его с пола, но ничего больше сделать не успел. Ражный вышвырнул бандита из палатки на снег, придавил к земле стволом карабина.

И здесь от него дурно завоняло. Потом, когда выздоровел, Кудеяр признался, что не мог сходить в туалет уже неделю, и тут от страха у него началась медвежья болезнь, которая продолжалась потом всю дорогу, пока несли его до машины и потом ехали до базы. Несмотря на ранение, у бандита не пропал аппетит и он сожрал чуть ли не половину уворованных продуктов – четырнадцать литровых банок лосиной тушенки! Даже с великого голода нормальному человеку столько не съесть, тем более когда случился запор.

На базе Витюля отмывал и лечил его больше месяца, геройски перенося отвращение, и когда Кудеяр встал на ноги, Ражный велел выдать ему солдатскую одежду, бывшую в клубе как охотничья спецовка для гостей, и отправить на все четыре стороны. И вот тогда налетчик в прямом смысле пал на колени.

– Не выгоняйте! – взмолился. – Мне некуда идти! Я вынужден прятаться! Если я появлюсь в городе – меня убьют! Буду служить вам! Все исполню, что прикажете!.. Позвольте остаться!

– Даю три минуты, – предупредил Ражный. – И чтоб духу твоего не было!

Налетчик пугливо открыл дверь задом, попросил из-за порога:

– Верните мне автомат...

Не хотелось марать рук об это существо, поэтому Ражный дал ему пинка и велел Герою вывезти Кудеяра за сто первый километр в прямом смысле, то есть за границу арендованных охотугодий. Верный слуга исполнил все, как полагается, но не прошло и недели, как егеря, объезжавшие на снегоходах лосей в семнадцатом квартале, засекали человеческие следы в кирпичных солдатских сапогах. Неизвестный выходил на просеку, зачем-то прошел по ней взад-вперед, после чего, неумело маскируя след, снова свернул в глубь квартала, где находился старый леспромхозовский вагончик с печью. И пес бы с ним, да на выходные дни Ражный ожидал группу «новых русских» из области, и Кудеяр мог подшуметь лосей, стоящих на кормежке в этом квартале. Поэтому, не раздумывая, велел осторожно пройти на лыжах к вагончику и взять, кто бы там ни оказался. Егерями у него работали местные мужики-охотники, леса знали отлично и к обеду следующего дня привезли в снегоходной нарте обмороженного, коростного Кудеяра.

Гнать его с территории оказалось бесполезным, его в двери – он в окно, тем более одичавший лесной скиталец снова упал на колени:

– Служить буду! Как последняя сука!

Он был интеллигент и в лагерях не сидел, поэтому тюремные клятвы и замашки звучали у него выспренно. Не походил он ни на уголовника, ни на киллера, вынужденного скрываться от возмездия, ни на члена какой-нибудь бандитской группировки, которому братва отказала в покровительстве.

При всей своей рабской роли в охотничьем клубе Герой Соцтруда Витюля был вовсе не рабом, а невероятно прилежным трудягой, выброшенным с круга жизни великими реформаторами. Он до сих пор оставался Почетным гражданином города Надьма, одна из улиц носила его имя; разве что надымчане не ведали, где теперь он и в каком состоянии, качая природный газ по трубопроводу, им сваренному. Витюля прекрасно осознавал свое положение, называл себя абортом реформы и все еще желал быть кому-то нужным и полезным – не государству, так небольшому частному делу в виде клуба и охотничьей базы. Варить он больше не мог, поскольку от долговременных запоев тряслись руки...

– Ладно, – согласился тогда Ражный. – Служить так служить... Но запомни: малейшее неповиновение – и я тебе больше не хозяин.

Кудеяр готов был землю есть.

А Ражный присматривался к нему и искал подтверждение своим внезапным мыслям: впереди был первый поединок, и вполне возможно, что его будущий соперник, заранее зная, с кем придется выйти на ристалище, подослал своего человечка, используя его вслепую.

Отец не раз предупреждал – за полгода до схватки никого больше к себе не подпускай, тем более перед Пиром. К нему самому не раз подкрадывались – то молодая женщина объявится, на которую сроду не подумаешь, то беспризорный мальчик, которого выгнать рука не поднимается. Для соперника все важно: как ты живешь в мирской жизни, что ешь, сколько спишь и даже что видишь во сне.

И сколько бы он ни приглядывался к рабу, ничего не заподозрил и все-таки решил заранее освободиться от зависимой души: до поединка оставалось менее полугодика, поскольку Ражный этой весной достиг совершеннолетия аракса – исполнилось ровно сорок.

Способ избавления от рабства он знал армейский, проверенный и жесткий: прежде чем поднять человека, его следует унижить, дабы ощутил дно и опору под ногами. Иначе из трясины не выплыть...

Но оказалось, есть на свете люди настолько глубокие в своей низости, что могут и тебя увлечь на дно, незаметно погрузив в болотную зыбь. Самое удивительное, что Кудеяру нравился такой образ жизни и другого он не хотел, а выгнать его с базы оказалось невозможно. Он в буквальном смысле прилип, въелся, как ржавчина, и медленно грыз изнутри душу, изъедал и язвил ее своими циничными, полускрытыми насмешками, и когда хозяин выходил из терпения и хватал палку, тотчас же покорно склонял перед ним спину.

Ражный терпел и ждал случая, когда можно хорошенько встряхнуть, жестко наказать в последний раз отравляющего жизнь раба, и приезд поединщика подстегнул к скорому действию, да и случай представился удобный: охота с поляками, вертолет, начальство из области – все к месту.

Едва Кудеяр забил камнями могилу волчицы и сел в тень покурить, за ельниками послышался стрекот вертолета Ми-2, на котором вчера брали волчью семью у логова. С поляками, которых Ражный за иностранцев не считал, намаялся больше, чем с изнеженными американцами или привередливыми немцами. Им и вертолет не помог – вывернулся и ушел матерый и волчица с прибылыми, выпустили по собственной вине: куда уж лучше, когда тебя наводят на зверя с воздуха, подходи и бей.

Панам бы покаяться или хотя бы вину свою признать и не предъявлять необоснованных претензий – в них заиграла шляхетская кровь, полезло дерьмо – мол, за увечье охотника, павшего в колодец, платить придется клубу, еда на базе плохая, комары заедают, подушки комковатые, в спальне сквозняки и вообще охотничий клуб – надувательство русских проходимцев, и надо бы расторгнуть с ними контракт.

Президент клуба тихо скрипел зубами и с тоской, добрым словом поминал Тараса Бульбу и Ивана Сусанина.

Поздно вечером выяснилось, отчего недовольны паны и ради чего столько времени добивались этой охоты на логове: коммерсанты обещали преподнести польскому президенту волчонка.

И когда на подходе к логову услышал волчий плач, застрявший в ушах, понял, что волчица мертва и сейчас складывается самая неблагоприятная обстановка. Волк пришел к погибшей возлюбленной, простился, а потом оплакал и ушел на разбой...

Сейчас Ражный ничего особенного не чувствовал, ибо мысли по-прежнему были прикованы к поединщику. Он вспоминал его рукопожатие, взгляд, голос, процеживал в памяти короткий диалог, состоявшийся на дороге, и пытался угадать его характер, силу и качество эмоций, способности врожденные и приобретенные и из всего этого смоделировать хотя бы общие приемы борьбы. Ражный знал, что и Колеватый сейчас занимается тем же анализом и,

пожалуй, волнуется больше, поскольку схватка предстоит в дубовой роще, насаженной далекими предками и полностью обновленной отцом, а дома и деревья помогают...

Эх, узнать бы о нем сейчас хоть что-нибудь – какого он рода, сколько раз выходил на ристалища, в каком периоде схватки рассчитывает на победу, а в каком может сделать ничью или вовсе уступить. Судя по телосложению, кулачник он сильный, и браться во втором тайме с ним будет трудно. Так что придется доводить его до третьей стадии – до сечи...

Что вольные, что вотчинные араксы никого к себе близко не подпускали, таили не только от мира свою вторую жизнь, но и перед своими были закрыты, так что или вычисляй, изучая характер и психологию, или все узнаешь уже на земляном ковре, в роще. Это народу на потеху они устраивали по праздникам игровые схватки, иногда зарабатывали деньги, подзуживая богатых купцов организовать бой с кем-либо, вынуждали делать большие ставки и потом делили выигрыш, собравшись на тайный сход, но ни один посторонний человек не знал и не мог узнать, где состоится истинный бой араксов – своеобразный чемпионат, покрытый таинством. Его место определял боярый муж Пересвет – не самый старый по возрасту и самый сильный поединщик. Обычно схватки проводились в дубовых и, реже, сосновых или иных рощах, скрытно от чужих и своих глаз. Они напоминали гладиаторские бои, разве что без публики, милующей или приговаривающей к смерти. В Урочищах засадники были сами себе судьями и сами решали вопросы жизни и смерти.

И доньше ничего не изменилось, хотя отец частенько говорил, что араксов сначала поубавилось в довоенное время, а потом резко прибавилось, и сейчас их больше, чем в благодатном прошлом веке, то есть тысяча с лишним, настоящий Засадный Полк. Сам Ражный-старший о себе рассказывать не любил и, как потом выяснилось, много скрывал даже от сына. Большую часть жизни прожил он в своей родной деревне, работал все больше в лесу – штатным охотником, егерем, лесником, одно время – механизатором, потом снова егерем. В сорок втором взяли в армию, но на фронт он не попал – отправили на морскую базу, где ремонтировались подводные лодки. Всю войну, а потом еще шесть лет он выполнял одну и ту же операцию – вытаскивал из субмарин дизели, подлежащие ремонту, и затаскивал новые. С помощью специального коромысла, постромок и помочей в невероятной теснотище, где двоим уже не развернуться, брал один полутонный вес и, удерживая его впереди себя, нес по лабиринтам и узким переходам. Иногда за сутки по две-три операции. Его держали на особом пайке, который, впрочем, был не так важен, хранили и берегли, исполняя все, даже самые неожиданные прихоти, и не спрашивали, зачем, например, ему нужна отдельная рубленая баня, всякий раз чистое, с иголки, белье, возможность на несколько часов оставаться в одиночестве и полная свобода действий.

Когда Ражному было десять лет, отец вдруг собрался и, оставив хозяйство, налегке, с сыном и второй своей женой Елизаветой уехал на Валдай. А там поселил семью в настоящих хоромах на высоченном холме среди древней дубравы. Жить бы там и радоваться, но когда Вячеслава призвали в армию, вернулся назад...

Для Ражного не было тайной, чем всю жизнь занимался родитель, мало того, сам по наследству был посвящен в воины Засадного Полка – так между собой араксы называли Сергиево воинство, тот самый засадный полк, который под предводительством княжеского воеводы Боброка решил исход битвы на Куликовом поле.

Посвящен был в тринадцать, много чему научен и только не вышел еще возрастом, не достиг сорока лет – совершеннолетия аракса или, как чаще говорили, сборных лет, чтобы бороться в рощах. До этого срока можно было заниматься чем угодно – заносить колокола на колокольни, жернова на мельницы или те же дизели в подлодки; позволялось бороться на праздниках, веселя публику, профессионально заниматься спортом, всегда в особой чести считалось служить, защищая Отечество. Однако выходить на поединки в Урочищах и участвовать в Сборе воинства для Пира Святого уставом дозволялось лишь в зрелые годы.

Поскольку внешне засадники ничем особенным не выделялись, то их невероятная сила и выносливость почти всегда связывались в сознании мирских людей с колдовством, чародейством или некой чистой и нечистой силой, позволяющей совершать то, что не под силу обыкновенному человеку.

Отец успел вроде бы многое за свою жизнь, не раз становился героем на праздниках, заработал уважение земляков, слыл среди них как самый сильный и независимый, потому всю жизнь был чем-то вроде мирового судьи, и даже последние годы занимался живописью, умудрившись умереть не как подобает араксу, в объятиях противника, а возле мольберта, так и не закончив автопортрета.

К старости ему не хватало света, поскольку он писал картины, и, дабы осветить жилье, вынес все капитальные и дощатые перегородки, прорезал дополнительно еще шесть окон, и получилась одна огромная комната с видами на все четыре стороны. Лишь русская печь отгораживала часть помещения, делая невидимым один угол. Дом от этого быстро начал крениться вперед, поползли не связанные внутренними стенами венцы, и по ночам находиться в нем было страшновато из-за непрекращающегося треска и скрипа. Местные охотники, иногда ночуя возле дома, опасались войти в него – говорили, будто Ражный-старший оставил в нем колдовскую силу. Возможно, потому здесь все уцелело, сохранилось в неприкосновенности, ибо ходила молва – если что взять из жилища колдуна, станут преследовать несчастья.

Никто не тронул ни вещей, ни отцовских картин, и даже запас кистей, красок, льняного масла и растворителей остался цел, разве что ко времени возвращения наследника все покрылось толстым слоем пыли.

Восстанавливая родительский дом, Ражный выровнял и скрепил стены дополнительными балками и стяжками, но оставил все, как было при отце: здесь действительно стало много света и простора, отчего радовалась и никогда не томилась душа. Но летом становилось жарко, потому и приходилось закрывать оконные проемы.

Портрет был необычный и по краскам, и по содержанию. Писал его отец без зеркала и фотографии – на память, а точнее, таким, какого видел или представлял себя самого, потому никакой внешней схожести не наблюдалось. На круглом метровом полотне в бело-сиренево-багряных несочетаемых тонах был изображен сивоусый строгий и властный старик с огромными, пристальными глазами, а в каждом его зрачке отражался другой, по замыслу, тихий, самоуглубленный и добрый. И вот как раз эти старички должны были походить на настоящего отца, но они никак не получались, ибо выписать их следовало слишком мелко, почти ювелирно, а у Ражного-старшего в последнем поединке была изувечена и сохла правая рука, отчего он больше не выходил на ристалища. К тому же в доме не хватало света даже после того, как отец превратил его в фонарь.

Все-таки он вложил много в эту картину, сумел выразить и написать себя даже с рваными сухожилиями и сосудами в руке, и потому душа осталась живая и сейчас, незримая, присутствовала рядом.

Художественный дар у него открылся лет за восемь до смерти, после памятного, последнего поединка, на котором отец был побежден араком по имени Воропай. Но особенно он взялся за живопись, когда умерла его жена Елизавета. Говорит, не спал целый месяц и начались видения, которые ему потом захотелось воспроизвести на холсте: до того не то что кисти в руки не брал – представления не имел о технике живописи. Потому все картины не имели прямой связи с реальностью, но и не были абстрактными. Конечно, его работы профессиональный художник, привезенный Ражным-младшим, отнес к чистой самодеятельности, примитивизму, ничего не имеющему общего с настоящим искусством, и тем самым разочаровал сына, но не отца. Отец же поухмылялся в сивые усы и принялся творить с еще большим упорством.

Тогда-то и появилось полотно под названием «Братание». На нем вовсе не братались в прямом смысле, а боролись два аракса, переплетаясь телами, руками и ногами так, что начинали

свиваться, будто корни двух деревьев, а пальцы их вообще срослись. Динамика и экспрессия были правдивыми, живыми, испытанными много раз в «науке» – потешных поединках. Он несчитанное число раз схватывался с отцом на ристалище и помнил братание: действительно, было ощущение, словно связывается, срастается противоборствующая плоть помимо воли или вопреки ей, и вопрос уже стоит так: не уложить соперника – хотя бы расцепиться с ним, чтобы не превратиться в сиамских близнецов.

Отец знал, что и о чем писал на холсте.

Не испытав схватки в Урочище, нельзя было судить об этой живописи. Профессиональный художник был прав: творчество отца имело мало общего с искусством, поскольку на его картинах была зашифрована тончайшая, чувственная материя, переживаемая засадниками.

О том, что Ражный-старший, начиная с пятидесятилетнего возраста, одиннадцать раз становился абсолютным победителем в схватках на земляных коврах и в последний раз уступил титул боярого мужа Пересвета всего-то лет за десять до кончины, его сын узнал, когда поехал на Валдай, за камнем на могилу. Уступил Воропаю, не выдержав с ним двухсуточной сечи: подвела правая рука, почти оторванная соперником...

И теперь было обиднее в тридевять, что при жизни отца ничего этого не знал, не мог оценить его как личность, по достоинству, и просто погордиться славой. Хотя бы тайно, перед самим собой, для собственного блага и куража, ибо он чувствовал, как гордость, родительская слава вливают в него мощный поток дополнительной силы и энергии.

Но в этом и крылись невероятная живучесть и великий внутренний смысл существования Засадного Полка – Сергиева воинства, где невозможно было что-то построить на отцовской или иной славе, и всякий раз каждому потомку, будь он вольный или вотчинный, приходилось начинать все сначала...

Между тем вертолет с поляками лопотал над дальним горизонтом, висел в небе, как рок, но Кудеяр не ведал о том, полагая, что охота закончилась и они пошли в лес добирать подранков – это делалось после каждой облавы, поэтому чувствовал себя в полной безопасности. Насчет хозяина он был уверен: этот самодостаточный болван никогда не выдаст приبلудного постояльца, совесть не позволит...

Ражный не спеша достал кожаный ремешок, ударом ноги опрокинул Кудеяра и в несколько секунд стянул ему руки, пропустив между ними толстый осиновый ствол. Раб опомнился, когда стоял на коленях и обнимал дерево.

– Что? Зачем? Зачем это? – испуганно завращал глазами.

– Хочу освободить тебя, – спокойно вымолвил тот и достал нож.

– Не надо!.. Не делай этого! Ну в чем я провинился?!

– Не бойся, я только побрею. И сдам. Слышишь – за тобой летят.

Кудеяр послушал гул вертолета, чуть расслабился.

– Вы не сдадите меня. Не сможете.

Без всякой суеты Ражный поправил на оселке лезвие ножа, подступил к Кудеяру и стал срезать бороду. Тот не противился, подставлял лицо и при этом все-таки пытался поймать взгляд.

– Я и сам хотел побриться... Но приятнее, когда тебя бреет сам президент. Только зачем это вам?

– Это не мне – тебе, – объяснил тот. – Чтобы твой нынешний образ соответствовал старым фотографиям.

– Все равно не сдадите, – уверенно произнес невольник. – Или я ничего не понимаю в людях... Как вы считаете, я хороший психолог?

Ражный молча срезал крепкий и густой волос: диалог с рабом должен был вести приближающийся вертолет. Тайного постояльца на базе и в охотугодьях никто, кроме Витюли и

егерей, не видел, а Кудеяр больше всего боялся чужого глаза, точно зная, что свои дорожат работой в клубе и никогда не пойдут против воли президента, не выдадут.

Быстрее раба на гул вертолета среагировал волчонок, упакованный в куртку, – заворочался и негромко заскулил. Ражный срезал бороду и принялся брить насухую. Волос трещал под лезвием, как проволока, у Кудеяра от боли наворачивались слезы, но он терпел и вострил ухо на хлопающий звук Ми-2.

– Вы не сдадите меня, – уже тоном внушения вымолвил он. – За укрывательство преступника вам полагается срок. Клуб развалится, базу растащат, охотугодья отнимут. Вернетесь на пустое место.

Волчонок вдруг перестал скулить и начал грызть брезент, сердито урча. Вертолет рыскал над старым вырубом в полукилometре и так низко, что ветерком нанесло запах сгоревшего керосина. Президент выбрил щеки, схватив раба за волосы, оттянул голову назад и скребанул по горлу.

– Пощади, – сломался Кудеяр и, опасно двигая головой, попытался поцеловать руку с ножом. – Я знаю, за что ты меня... Отрежь язык и пощади!

Ражный дернул его за шевелюру, задирая подбородок, но в Кудеяре уже проснулась дикая, неуправляемая сила страха – рванулся так, что в кулаке остался пучок волос.

– Сам откушу, смотри! – высунул язык и сжал зубы. По губам заструилась кровь.

Вертолет заламывал круг, завалившись набок в противоположную от ельника сторону – иначе бы уже заметили людей на земле. С шумом и криком вскинулось воронье, закружило над головами, приняв воющую машину за соперника.

Язык Кудеяр не откусил, а вдруг заскулил, задергался и начал грызть дерево – по-бобриному, срывая осиновую кору по кругу.

Ражный сел и вонзил нож в землю. Внезапная и ясная мысль будто скovyрнула коросту со старой раны: он сам, собственными руками делал раба из этого человека! Хотел взрастить благородство, чувство чести и презрение к смерти, дающее человеку волю, но армейский прием не годился. Унижение как самое сильное средство, возбуждающее человеческое достоинство, здесь ничего не возбуждало, а, напротив, еще глубже ввергало в трясины. Детонатор не срабатывал, не вышибал искру, не взрывал чувство протеста и сопротивления. По приказу Ражного Витюля давал ему прокисшие щи – Кудеяр страдал от поноса и все равно ел; Витюля впрягал его в санки и возил на нем сено для своей козы – он не роптал. Ражный однажды сам подбросил в его схорон нож и оставил дверь незапертой – раб к ножу не притронулся.

Его устраивало существующее низменное, скотское положение. Страх смерти оказывался сильнее, и под его натиском было все равно как жить – лишь бы жить.

Ражный рассек ножом ремень на его руках, и Кудеяр, как спущенный с цепи пес, тотчас же исчез в лесу.

На следующем развороте с вертолета заметили президента и начальника охоты, да и он теперь не скрывался – вышел из-под защиты ельников, вынес и утвердил, как вымпел, распятую шкуру. И когда вернулся к могиле волчицы за ее уцелевшим детенышем, вдруг и его пожалел: зверю была уготована судьба невольника. Посадят в вольер, станут кормить и сделают раба – прирученного пса, который даст потомство...

Польский президент увлекался разведением элитных служебных собак, считался одним из лучших заводчиков немецких овчарок и мечтал улучшить и освежить их породу, заполучив чистокровного волка.

Звереныш грыз брезент, мусолил и трепал его, однако жесткая, плотная ткань не поддавалась, и когда Ражный развязал куртку, оказалось, что зубов у волчонка нет: молочные, неокрепшие, они были частью вырваны с корнем, частью обломаны. Из десен сочилась кровь...

Это стремление к свободе потрясло Ражного. Он держал волчонка за шиворот и зачарованно смотрел в младенческие звериные глаза. В них еще не было ни злобы, ни врожден-

ного волчьего страха перед человеком, однако нормальное для щенка и уже привычное положение, когда он подвешен за холку, обездвижило его и сделало покорным, как бы покорным воле матери. При этом широко расставленные уши были настороже и ловили гул вертолета, заходящего на посадку в двухстах метрах от ельников.

Ражный хотел погладить, точнее, пригладить эти чуткие уши, но волчонок вдруг ловко, по-змеиному, ухватил палец и стал сосать.

Он был голоден, и оставить его на воле, без матери, значило обречь на смерть: несмотря на свои ранние способности, волчонок все равно бы не выжил. Был единственный компромисс – сейчас же, пока не пришли сюда польские паны, задавить щенка, тем самым избавив его от мучительной смерти на свободе и жизни в неволе. Потом, в присутствии поляков, «обнаружить» мертвого волчонка и убить еще одного зайца, мол, извиняйте, господа-паны, сами виноваты: нашли бы вчера волчицу с прибылым – взяли бы живого, а сегодня поздно.

Если погибает самка, погибает и новорожденное потомство...

Щенок по-младенчески чмокал мизинец, слегка покалывая его корнями обломанных зубов. Ражный отнял палец, нащупал трепещущее сердце звереныша – оставалось на несколько секунд сжать пальцы. Он делал это много раз, когда додавливал пойманных в капканы куниц, раненых зайцев, уток и тех же волчат, взятых из логова.

Но вдруг случайно перехватил щенячий взгляд: в гнойных, недавно открывшихся глазах пока еще ничего не было, кроме безграничного детского доверия.

Его мать-волчица без тени сомнения пожрала новорожденных щенков, даже не перекусив пуповин, ибо имела ярое, сильное сердце, повинующееся инстинкту. Спасти она могла лишь одного волчонка и выбрала первенца, самого крупного и сильного – остальные подлежали безжалостному уничтожению. И если бы из-за первенца появилась угроза ее жизни, она бы придавила и его, дабы спасти материнское чрево, в благоприятных условиях способное дать не одно потомство.

Ражный с силой швырнул щенка под ель. Тот мявкнул и тут же вскочил на ноги.

– Иди отсюда! – пугая, потопал сапогами. – Уходи. Пусть тебя поляки ищут. Найдут – такая уж судьба, жить будешь... Ну, что встал? Брысь отсюда!

Волчонок будто внял человеческой речи, сунулся в лапник, выстилавший землю, запутался, потом прополз на животе и, выбравшись на кабанью тропу, неуклюже поковылял в ельник. Отпрянувшее было от вертолетных лопастей воронье снова подтягивалось к логову, перелетая от сушины к сушине, но, увидев группу приближающихся людей с ружьями, осталось на почтительном расстоянии.

Ражный лежал на колодине, когда подошли паны в идиотских тирольских шляпах с перьями и плотных не по погоде охотничьих пиджаках (во всем стремились подражать немцам, западному, «цивилизованному» стилю). С ними оказался районный охотовед и незнакомый милицейский подполковник, которого вчера не было. Жара загнала комаров в траву, однако вся эта компания методично хлопывала себя березовыми ветками.

– Ну, и что тут у нас? – по-хозяйски спросил охотовед Баруздин, в присутствии иностранцев сохраняя официальный тон. – Вижу, волчицу отстреляли. А выводок?.. Вячеслав Сергеич?

Ражный снял сапог и неторопливо поскреб в его носке – будто бы гвоздь мешал или залетевший камешек. Прилетевшие ждали, паря себя зелеными венниками по потным лицам. С Баруздиным у Ражного были хорошие, почти дружеские отношения еще с лесотехнического техникума – начинали бороться вместе, только Ражный тогда был вольником, а нынешний охотовед – дзюдоистом: иначе бы никогда не получить в аренду охотугодя...

– Где волчата, президент? – уже по-свойски спросил охотовед, отделившись от компании.

– Пойдем, покажу, – буркнул Ражный и, взяв за рукав, подвел Баруздина к раскидистой ели, отвел ногой ветку, под которой лежал вскрытый желудок.

Охотовед присел на корточки, пошевелил кончиком ножа содержимое. Панов тоже одолело любопытство, сгрудились за его спиной.

– Хочешь сказать, всех порешила? – Баруздин вытер нож о траву и убрал в ножны. – Такая лосиха... Не может быть. Как минимум пару оставила.

Президент мельком глянул в то место, где исчез волчонок.

– Думаю, всех... С логова подняли накануне щенения. Опросталась, когда гнали вертолетом. Сожрала приплод вместе с последом.

– Поверить и в это можно...

– Матерый ушел – беда будет, – после паузы сказал Ражный. – Придется организовывать облаву, с тебя спросят.

– А я с тебя! – недовольно буркнул Баруздин.

Поляки слушали внимательно, переводя взгляды с одного на другого, а безучастный подполковник, махая веткой, бродил около волчьей могилы, трогал носком ботинка камни, разбросанную землю и еще какие-то невидимые со стороны следы или предметы.

– Ладно, – примирительно добавил охотовед, поразмыслив. – С матерым потом разберемся. Сейчас задача другая, нужен щенок. Вокруг логова хорошо смотрел?

– Можно еще посмотреть, – согласился Ражный. – Если паны желают комаров покормить. В ельниках зажирают...

– А где ваш товарищ? – вдруг спросил подполковник, остановившись возле забытой на земле брезентовой куртки.

Президент мысленно ругнул себя и поединщика Колеватого, занимавшего мысли и чувства, но прикинулся лениво-спокойным.

– Какой товарищ?

– Не знаю, ваш товарищ. – Милиционер поднял брезентуху – хорошо, обмусоленное волчонком место успело просохнуть на солнце. – Чья одежда?

– Моя. – Ражный забрал у него куртку, засунул в свой рюкзак.

Куртка была действительно его, но когда-то отданная Кудеяру...

На этот короткий разговор никто не обратил внимания, поскольку Баруздин взял командование на себя и стал расставлять тараторящих по-польски панов для прочесывания прилегающей к логову местности.

Наблюдательный подполковник на этом не успокоился, обмахиваясь веткой, приблизился к волчьей могиле, демонстративно глянул на десантные ботинки Ражного, затем себе под ноги.

Там на свежевзрытой земле остался след кирзового сапога Кудеяра...

Ражный еще раз ругнулся про себя, но кто бы знал, что принесет нелегкая этого следопыта?.. Он закинул ружье за спину, рявкнул, как и положено начальнику охоты:

– Здесь команду я! Оружие разрядить! Двигаемся на расстоянии видимости, цепью. Внимательно смотреть под елями и особенно в завалах валежника, как будто грибы ищите. Все, пошли!

Поляки и с ними охотовед медленно двинулись по ельнику в сторону логова, а подполковник все еще стоял у могилы и, показалось, ехидно улыбался.

Или морщился от пота, бегущего из-под фасонистой фуражки.

– А вам что, особое приглашение? – грубо окликнул его Ражный, одновременно приближаясь. – Становитесь на левый фланг! Да смотрите, чтобы господа не заблудились! Тут черт ногу сломит! Потом их искать!..

Внезапный напор подействовал: милиционер отступил от могилы к левому флангу на несколько шагов, и этого было достаточно, чтобы протопать и уничтожить ботинками следы кирзачей.

Как будто ненароком, походя...

Однако краем глаза Ражный узрел, что умысел его не остался незамеченным. И мало того, милиционер красноречиво глянул в сторону осины с сорванной корой, у корня которой в траве можно было отыскать волос от сбритой бороды Кудеяра...

4

Волчонок ушел от материнской могилы недалеко, метров на тридцать. И тут, на кабаньей лежке под елью, наткнулся на засыхающий, еще зимний помет. Врожденный инстинкт маскировки запаха мгновенно проснулся и заставил его выкататься в дерьме, после чего он услышал голоса идущих от вертолета людей. От них воняло отвратительным по́том на сотни метров, и это пробуждало иной инстинкт – страх, но не трусливый, а, напротив, вызывающий злобу. Он не стал прятаться, ибо, слившись запахом со средой, был неуязвим для человеческого нюха, того не подозревая, что нюх этот совершенно немогущий и к тому же большинство охотников даже не знали, как пахнет волк. Он лег тут же, возле кабаньего помета, наострил уши и тихо, по малой толике потянул носом воздух, улавливая теперь не эти яркие и мерзкие запахи, а сквозь них нечто иное, тонкое – дух, исходящий от людей частыми упругими волнами, напоминающими ритмичные и не ощутимые внешне порывы ветра. В сочетании с голосами и шумом движения дух этот был страстным и агрессивным: за ним охотились, его выслеживали, искали, и по тому, как толчки незримых волн становились чаще и плотнее, по тому, как они будоражили собственный дух звереныша, не ведая, каким образом, но безошибочно он определял направление движения каждого человека.

Однако не каждый из них был охотником. Идущий левее укрытия почти не проявлял агрессивности и чего-то боялся сам, поэтому его движения и шаги были робкими и неуверенными, а излучаемый дух не нес в себе опасности. Тот же, что шел справа, напротив, хоть и двигался крадучись, осторожно, но при этом напоминал бурю, катил впереди себя хлесткие, как выстрелы, угрожающие волны. И запах от него был пронзительный, мускусный и отличный от всех других. Охотники были еще далеко, потому волчонок предусмотрительно перебрался под другую ель, поближе к тому, что шел слева, и сделал это неосознанно, повинувшись пока еще смутному внутреннему повелению. Люди наступали довольно плотно, присматривались, поднимали нижние еловые лапы, лежащие на земле, ковыряли ногами подозрительные кустики трав, лезли в завалы гниющих сучьев и лесного мусора; волчонок же неведомым чувством угадывал, что прятаться следует на открытом месте, за которое не зацепится человеческий глаз.

Воняющий как и все люди, но не опасный охотник прошел в двух шагах от него и, медленно удалившись, скрылся за деревом. Как только ослабли и истончились агрессивные волны духа, унесенные вперед, звереныш понюхал ближайший к нему след и подался к другому, самому крайнему, источавшему уже знакомый, хотя такой же скверный запах. Человек, оставивший его, вообще не излучал охотничьей страсти и азарта, не угрожал ему – наоборот, волчонок чуял в нем защиту и помнил его руку на своей холке, такую же крепкую, властную и спасительную, как материнские челюсти. Встав на след, он, не скрываясь, поплелся за этим человеком, опять же повинувшись туманному, повелительному предчувствию, что поступать надо именно так и не иначе.

Люди перекликались, как только теряли друг друга из виду, часто возникал переполох, останавливались и один раз даже грохнули из ружья; волчонок по-прежнему тянулся позади них, боялся отстать или потерять спасительный след и все равно не поспевал. Далее начинались буреломники, перемежаемые болотинами, ельники становились гуще, темнее, так что и в солнечную погоду сюда проникали только отдельные лучи. Тучи комарья повисли за спиной каждого охотника, и чем глубже в лес они уходили, чем ближе было логово, тем слабее и слабее становился их злобный охотничий дух. В самом гиблом месте, среди осклизлых, гниющих завалов леса, под которым шумел почти невидимый ручей и где сквозь кроны уже не просматривалось небо, дух этот вообще испарился, и осталась лишь гадкая человеческая вонь. Люди постепенно сошлись в толпу и встали, озираясь по сторонам. Говорили шепотом, и следом за взглядом, за движением каждой пары глаз двигалась пара стволов. Вдруг что-то ворохнулось в

чащобе, треснуло, и тотчас почти залпом ударили выстрелы, раздались крики, громкий, сдавленный шепот. Картечь долбила по еловым лапам, по ветровальным пням и просто по мшистой земле, изрезанной кабаньими и волчьими тропами. Пальба стояла несколько минут, пока не послышался знакомый голос:

– Было сказано – оружие разрядить и не стрелять!

Другие же загомонили и осторожно двинулись к месту, куда стреляли, но там было пусто. В полном безветрии, царящем здесь, запах порохового дыма и пота смешался и медленно стал растекаться во все стороны.

Бросив поиски, люди вначале попятнулись, словно столкнулись с упругой, непроницаемой средой, и без всякой команды двинулись назад – шли торопливой, плотной гурьбой, жались друг к другу, и, окончательно утратившие агрессию, сами теперь боялись каждого треска, сами чувствовали себя чьей-то добычей; в них тоже пробуждался древний инстинкт маскировки запаха, и редко кому из охотников не хотелось лечь на звериную тропу и выкататься в кабаньем помете...

Следы их скоро слились в один, и неопытный нюх волчонок не мог отделить одного от другого. Теперь он отстал от людей окончательно, поскольку, выбравшись из завалов и болотин в молодой ельник, они прибавили шагу и скоро ничего, кроме резко пахнущего следа, от них не осталось.

Выбившийся из сил, оголодавший звереныш еще некоторое время брел по следу и готов был уже лечь и заскулить, однако заметил впереди предмет, от которого шерсть на загривке встала дыбом. Это была часть человека, брошенная на землю, – камуфлированная армейская кепка с эмблемой охотничьего клуба. Она источала отвратительный и одновременно притягательный запах, ибо он связывался с человеческой рукой, напоминающей материнские челюсти. Не смея приблизиться, волчонок обошел ее по кругу, сделал угрожающий скачок и заворчал; кепка не шелохнулась, не подала признаков агрессии – вероятно, была мертвой. Вложенная с рождения интуиция подсказывала: все, что мертво, не несет в себе опасности, а, напротив, может служить пищей, но сейчас он ощутил глубокое противоречие, поскольку от кепки исходил не только запах – пока еще более смутная, неосознанная главная сила человека – сила покорения.

И волчонок уже испытал ее однажды, когда очутился в его руках...

Сейчас эта сила была спасительной, и он еще не понимал, что спасти она может лишь жизнь.

Так и не осмелившись тронуть кепку, он лежал возле нее и тихо скулил, будто оплакивал свою свободу – короткий и трагичный ее миг, однако же навеки закрепленный в памяти.

Человек вернулся за своей утраченной частью спустя часа два и, увидев волчонок, разозлился:

– Ты что здесь делаешь? Пошел вон!

Волчонок лежал возле кепки, глядя печально и обреченно. Потом и человек стал смотреть так же, словно сам собирался в неволю.

– Ну что, брат, делать-то будем? – спросил он. – Навязался ты на мою голову... Отдать бы тебя полякам – за границу бы поехал и жил бы там припеваючи. У самого президента на псарне. Не слабо, да? А я вот вмешался в твою судьбу и подпортил будущее... Ну, что молчишь?

Звереныш слушал клекочущую человеческую речь, навострив уши и склонив голову набок. Человек внушал страх и доверие, ибо в голосе его слышалось отеческое ворчание.

– Да ты, брат, молчун... А ведь голодный, и душа, поди, в пятках... Понимаешь, нечего делать тебе на псарне. Лучше уж с голодухи подохнуть, чем стали бы тебя панские псы гонять, как шелудивого, и за ляжки хватать. Натаскались бы они по тебе и возгордились, что волка могут брать. Но собаки – они и есть собаки, их доля – служить, а твоя совсем другая, волчья...

Человек надел на голову кепку, сидя на корточках, поманил рукой.

– Иди сюда... Нельзя мне брать на себя зависимую душу, тяжело будет, да что же с тобой делать?.. Давай иди, ты же сделал выбор – жить хочешь. А если хочешь – сдавайся, иначе сдохнешь через день, и отлетит твоя волчья душа... Только не знаю, куда тебя деть? Была бы у меня жена – может, выкормила бы из соски. А жены у меня нет... Кто кормить станет? Это же сколько раз в день возиться придется. Мне же некогда... Витюле поручить – тебя жалко, кого он выкормит? Превратишься в собаку, будешь служить, лаять научишься... В зоопарк на посмешище отдавать тоже нельзя, да и сдохнешь нынче там с голодухи. Вот, брат, как выходит: лучше зверем погибнуть, чем к человеку идти. Хреновый ты выбор сделал... Да ладно, что же теперь. Сделал – так сделал. Я тоже сделал. Полежай вот сюда.

Взяв щенка за шиворот, посадил в боковой карман и застегнул «молнию» так, чтобы осталось отверстие для воздуха.

Но это был уже иной воздух – неволя...

Сначала его посадили в «шайбу». Человек принес обрывок невыделанной шкуры, бросил у стены и посадил волчонка.

– Посиди пока, – сказал он. – Найду молока с соской – покормлю. А нет – терпи...

Звереныш побродил по шкуре, спустился на ледяной пол и скоро затрясся от холода. Сначала он заскулил, призывая на помощь, потом озлился и призывно завыл. Всякий волк немедленно бы откликнулся на этот голос, однако его услышали собаки в вольере, залаяли, поджав хвосты. И еще на вой откликнулся человек – Витюля, который оказался неподалеку и пошел взглянуть, что за звуки идут из мясного склада.

Замка на двери не было, один лишь засов, поэтому бывший сварщик откинул его и, оказавшись в «шайбе», сразу же увидел волчонка. О том, что поляки охотятся на логове и мечтают заполучить щенка, он знал, однако паны за два дня так его достали своими капризами и скупердяйством – всего-то одну стопку налили, да и то какой-то бурды, – что Герой решил наказать их. Тем временем охотники, поджидая транспорт, сидели в зале трофеев и хмуро пили халявную водку, выставленную в утешение московскими партнерами. Витюля поймал волчонка, спрятал за пазуху и с оглядкой прошмыгнул в свою каморку при кочегарке.

– Не достанется же моя люлька проклятым ляхам! – твердил он словами Тараса Бульбы, хотя знал, что возвращать волчонка все равно придется. Например, в тот момент, когда поляки будут уже в полном отчаянии: тогда с них можно сорвать литра три в качестве премии.

Устроив щенка в бельевом ящике старенького дивана, он отыскал вместо соски клизму, за неимением настоящего молока развел водой сгущенку и стал поить. Голодный волчонок жадно опустошил две груши и мгновенно уснул с раздувшимися боками. Герой завернул его в тряпки, сунул в диван и, довольный, отправился было в базовую гостиницу, чтобы посмотреть, как забегают паны, когда хватятся, но по дороге внезапно для себя решил, что не отдаст волчонка ни за водку, ни за деньги. У благодетеля Ражного, конечно, будут неприятности, но ничего, перетерпит. В конце концов, щенок мог сам убежать из «шайбы» по крысиным норам, которых было полно, как бы Витюля ни забивал камнями яму, откуда торчал толстый обесточенный кабель.

На удивление, поляки даже не заикнулись о волчонке, не подняли тревоги, полупьяные, благополучно погрузились в микроавтобус и, не прощаясь с президентом клуба, отбыли к московскому поезду. И только тогда Герой сообразил, что украл волчонка не у ляхов, а у Ражного.

Это подтвердилось спустя десять минут после отъезда гостей, когда Витюля делал уборку за ними. Президент вошел в зал трофеев с бутылкой молока и натянутой на нее соской.

– Витюль, ты в «шайбу» не заходил? – спросил он настороженно.

Ему бы сразу признаться, рассказать правду и покаяться, но Герой уже выпил полстакана, слив остатки из бутылок и рюмок, потому был храбр и свободен.

– Не заходил, – соврал он. – А что?

– Волчонок пропал, – грустно проговорил Ражный и сел в кресло. – Наверное, ушел... Там, на вводе кабеля крысиные норы, а он такой шустрый был, сообразительный... Теперь подохнет, жалко.

Герой мыл посуду, столы, пылесосил пол, а президент все сидел и тосковал. Мало того, сходил в кладовую, принес бутылку, взял чистую рюмку, однако пить не стал, будто вспомнив что-то. Но и трезвый, вдруг разозлился и орать стал:

– Сколько раз говорил – залей бетоном яму! Еще зимой, когда крысы мясо побили! Говорил я тебе?!

Выпивший Герой становился гордым и независимым – ведь и алкоголиком стал лишь по этой причине.

– Я за одни харчи на тебя пахать не буду! – заявил он. – А то нашел дурака! Я – Герой Социалистического Труда!

Снял фартук, швырнул его посередине зала и демонстративно ушел.

В каморке у себя он сразу же завалился спать, напрочь забыв о волчонке, но под утро проснулся от громкого сердитого рыка. Щенка пронесло, и пить разбавленную сгущенку он отказывался, выплевывал пластмассовый наконечник груши и еще норовил ухватить за руку. Витюля протрезвел и теперь чувствовал всю тяжесть вины и ответственности, а от воспоминания, как ушел от Ражного, хлопнув дверью, вообще стало тоскливо. А тут еще волчонок, немного поскулив, взвыл – то ли от голода, то ли от болей в животе и поноса. Завернув в тряпку, Герой понес щенка назад, в мясной склад, замыслив подбросить его и тем самым восстановить прежние отношения, однако увидел возле дверей «шайбы» президента. Он сидел совершенно трезвый, потому что вообще не пил, даже при сильном расстройстве, и находился в каком-то возвышенном состоянии – будто стихи сочинял.

И в этом же состоянии поднялся и пошел куда-то по старому проселку за территорию базы.

Это ночное бдение говорило об одном: Ражный был в крайней степени возбуждения, что с ним случалось редко, а значит, можно было не надеяться на прощение. Конечно, причиной стал потерявшийся волчонок – другой просто не было: на неудачную охоту иностранцев он плевать хотел. Поэтому мысль отпустить украденного щенка на свободу Витюля отмел сразу же и бесповоротно; напротив, теперь придется беречь и выхаживать его, чтобы потом, улучив момент (если только утром не вышвырнет с базы!), подбросить или «случайно» обнаружить.

Иначе снова придется надевать Звезду, черные очки и – с протянутой рукой по электричкам.

– Помогите Герою Социалистического Труда! Я потерял зрение от электросварки, выжег глаза. Меня вышвырнули с работы! А гнусный воровской режим отнял квартиру!

На самом деле видел он хорошо и прекрасную квартиру в обкомовском доме потерял вследствие незаконных манипуляций мэра города, когда всех лишних и простых переселяли из центра на рабочие окраины, освобождая элитное жилье. Витюля почти не врал, и Ражный, однажды встретив его в электричке, поверил, пожалел и привез сюда, на базу. Правда, никакой базы тогда еще не существовало, а стоял полузавалившийся родительский дом, а кругом дичь, запустение и непуганые звери.

Волчонок пришлось снова засадить в диван и бежать на поиски козы, иначе молока не достать – ближайшая деревня в девятнадцати километрах. Козу Герой купил, чтобы лечиться от алкоголизма, посоветовал один «новый русский», бывший на охоте, но молоко почти не помогало, все равно мучила жажда, и потому животина гуляла в окрестностях сама по себе, и доили ее все кому не лень. Витюля примерно знал, где она пасется, и, прихватив веревку, пошел с надеждой привести ее и привязать на базе, чтобы все время была под руками. Спускаясь в лощину за бывшей пилорамой, он издали заметил дымок костра и насторожился: посторонних тут быть не могло, если только кто из егерей...

Возле тлеющих головней на земле спал Кудеяр, а чуть в стороне лежала полураспотрошенная и полусъеденная коза. Отсутствовали обе передних ноги с лопатками, грудина, и одна задняя ляжка жарилась над огнем, привязанная за копыто к жердине. Возле перемазанного сажей и жиром бандита валялись кости с остатками красноватого, недожаренного мяса; сам он, объевшийся, тяжело дышал и ворочался. Рогатая козья голова стояла у него в изголовье, насаженная на кол.

Витюля снял с костра обгорелую, истекающую жиром ляжку, взял, как дубину, и стал бить Кудеяра – в основном по роже и пузу. От первого же удара тот взвыл, огненный жир попал в глаза; бандит орал, катался по земле, насмерть перепуганный и не понимающий, что с ним происходит. А Герой только входил в раж, чувствуя, как захлестывает и окончательно слепит незнакомая, всевластная ярость. И когда ошеломленный Кудеяр перестал кричать, превратился в тряпичную куклу и лишь вздрагивал от ударов, он понял, что сейчас забьет свою жертву насмерть.

Но удержал себя, сел под дерево, не выпуская из рук козьего копыта и с удивлением прислушиваясь к собственному состоянию. Глазом же косил в сторону веревки, с помощью которой собирался трелевать животину на базу, и думал при этом, мол, не плохо бы набросить удавку на шею бандита и подвесить его над головнями...

Устрашившись такой мысли, он пошел на базу и по дороге, в сильном возбуждении, стал есть недожаренную, но обуглившуюся козью ляжку. Мясо оказалось несоленым, отвратительного вкуса да еще и застревало в зубах. Тогда он отшвырнул его и бегом вернулся в каморку. Волчонок уже не скулил – орал благим матом и снова отказывался пить сгущенку и, облившись ею с ног до головы, стал липким, каким-то обшарпанным и жалким.

Витюля был уже в полном отчаянии, усиленном похмельем – хоть самому в петлю полезай! – когда услышал за стеной лай гончака – месяц назад оценившейся суки Гейши, которую, за неимением отдельного вольера, содержали в кочегарке. Это была материнская реакция на голодный крик щенка! Мысль показалась ему простой и оригинальной – не теряя времени, он схватил звереныша и через внутренний тамбур (зимой Герой попутно отапливал базу) попал к собаке. Гейшу кормил и обслуживал один из егерей, знающий толк в гончаках, Витюлю к этому не допускали. Подросшие щенки резвились на полу, а их мать, едва почуяв волчий запах, поджала хвост и уползла в угол.

– Ладно тебе, дура, он ребенок, – успокоил Герой и подsunул звереныша под брюхо Гейши. – Слыхала же, орет...

Она тряслась, обнюхивая липкого волчонка, однако не сопротивлялась, а он без всяких прелюдий вцепился в собачий сосок и зачмокал, поддавая мордой вымя. Витюля почти торжествовал, подстраховывая, чтобы сука случайно не прихватила подкидыша зубами. Один за одним он опустошил все шесть сосков, еще раз прошелся по этому кругу, дотягивая последние капли молока, и когда Герой лишь чуть ослабил свою руку на ошейнике, Гейша вдруг дотянулась до звереныша и принялась вылизывать его с той же старательностью и полным отсутствием зла или брезгливости, будто своих щенков. Разве что подрагивала от страха, когда обнюхивала волчонка. Вычистила, выгладила все части тела, особенно тщательно подсохшую пуповину и задницу, – приняла!

Не успел Витюля еще по достоинству понять и оценить, что произошло, как насытившийся мурлыкающий звереныш внезапно изогнулся и благодарно лизнул собачью морду...

А его отец, бродячий волк-одиночка, оплакав погибнувшее семейство, вышел на разбойную дорогу.

Первый сигнал охотоведу пришел в тот же день, после охоты на логове: из бывшего колхоза, а ныне захиревшего товарищества, расположенного в охотугодьях клуба, по телефону сообщили, что среди бела дня матерый волк выскочил на пастбище, где бродили без пастуха остатки дойного стада, и уложил трех коров и телку, а еще нескольких покусал.

Зарезал по-бандитски, просто так, не съев и куска мяса. И людям ничего не досталось, поскольку скот пасся бесхозно, и когда нашли коровьи туши, они уже вздулись на жаре.

Баруздин знал, чья это работа и кто виновник, поэтому вечером помчался к Ражному.

– За скотинку-то заплатить придется, Сергеич, – мягко сказал он. – Иначе товарищество по судам затаскает.

К тому времени Ражный уже разослал егерей по округе в погоне за матерым. Двое из них были хорошими волчатниками, брали зверей на вабу, и была надежда, что волк откликнется: тоска по возлюбленной – она и у зверя тоска. Охотовед знал об этом и лишь потому не скандалил. Однако же спросил, пряча глаза:

– Сам-то что сидишь? Тебе сейчас дневать-ночевать надо в лесу.

– А вот сейчас и пойду. – Ражный взял ружье, ламповое стекло и подался по проселку, но не за матерым, а на встречу со своим тайным гостем.

Колеватый уже поджидал его на вчерашнем месте и выглядел значительно увереннее – источал добродушие, радовался местной природе. Это было нормально, что приходящий вольный поединщик некоторое время вынужден был ждать, когда его соперник – аракс, имеющий свою вотчину – дубовую рощу, где предстоит схватка, доделает свои текущие дела. Ему даже была на руку эта оттяжка: все-таки чужое место, чужие звезды над головой и незнакомый космос, и чтобы победить, ко всему этому не просто следует привыкнуть, а попробовать найти энергетические связи и подпитку. Грубо говоря, полежать на чужой земле, подышать воздухом и в небо насмотреться, как в глаза любимой.

По рассказам отца, случалось, что нагрянувший поединщик до месяца обживал пространство, ожидая, когда вотчинник освободится от дел земных. Но всякая отсрочка была не во благо хозяину: он вынужден был, постоянно встречаясь с соперником, объяснять причину отсрочки – каждое его слово проверялось.

И упаси бог почувствует малейшую фальшь! Тогда просто уедет победителем, не вступая в схватку, и будет прав.

Должно быть, Колеватый уже прослышал и об охоте на логове, и о вышедшем на дорогу мести волке, порезавшем колхозный скот, известие воспринял без лишних расспросов, однако сделал паузу и неожиданно попросил:

– Извини, Ражный, а ты не мог бы взять и меня? – кивнул на ружье. – Никогда не был на волчьей охоте. Время есть, все равно болтаюсь...

Все выглядело весьма убедительно – тон, голос и глаза, но Ражный мгновенно раскусил замысел поединщика – хотел посмотреть на соперника в деле и просчитать его тактику в предстоящей схватке. Охота, как ничто иное, практически полностью выдает психофизический тип характера.

Ражный сделал из этого единственный вывод: Колеватый был опытным борцом, и будущий его поединок – даже не десятый. Дело в том, что ни явившийся на схватку странствующий вольный поединщик, ни вотчинник, в роще которого предполагался бой, не знали и знать не могли, сколько каждый из них провел состязаний в дубравах и с каким результатом. Если, разумеется, араксы сами не выдавали каким-либо образом эту сокровенную тайну. Колеватый мог лишь догадываться, что Ражный готовится к своему первому поединку в дубраве, как сейчас Ражный угадывал в сопернике его опытность.

Впрочем, это мог быть всего лишь психологический прием давления – как бы ненароком, косвенно подтвердить предположения противника. Мол, гляди, я стреляный волк...

– Если сильно хочется, пожалуй, возьму, – подумав, согласился Ражный. – Матерый коров порезал, так егерь засидку сделал, а ждать зверя некому. Желание есть – покарауль пару дней. Найдешь выпас за деревней Стегаиха, там туши лежат, а лабаз увидишь.

И подал ружье.

Это ему было не по нутру! Не такой охоты он ожидал, да назвался груздем – и отступать было нельзя. Колеватый взял ружье, патронташ, глянул на часы.

– Так сейчас и отправляться?

– Давай!

Ражный не знал ни его профессии в миру, ни увлечений, однако посмотрев, как поединщик обходится с оружием, сразу же определил военного человека. И это было очень важно! Род занятий накладывает свои отпечатки, быт диктует бытие, а бытие определяет сознание, как учили в школе...

На месте разбоя возле туш действительно сделали лабаз, но сидеть там было совершенно бесполезно: мстящий людям зверь никогда назад не вернется, ибо это не добыча, не пища – жертва.

Разосланные по всем близлежащим деревням егеря сейчас больше напоминали сторожей скота, а не охотников и торчали там в надежде, что кто-нибудь из них окажется в нужный час и в нужном месте, однако это пальцем в небо. Как и следовало ожидать, матерый был непредсказуем и в следующий раз, теперь уже вечером, залез в загон фермера, державшего на откорме бычков, – туда, где его не ждали: в сотне метров дачная деревня, народ ходит и ездит ежечасно, кругом поля и до леса добрых три версты. Ничего не удержало! Ворвался на глазах фермерской жены, рассыпавшей комбикорм в корыта, и та приняла его за овчарку Люту, прогнать попыталась, замахнулась ведром. Волк ощерился на нее, догнал и с ходу вырвал у бычка промежность. Молодняк шархнул, разнес изгородь, а он погнал его к лесу, вырывая куски у всех подряд. Пятеро сдохли сами, и двух порвал изрядно, так что прирезать пришлось. Выложил их в одну строчку, на расстоянии ста метров друг от друга – верный признак, что месть еще не закончилась.

Фермер хохотал, бродя между телячьих туш с окровавленным ножом, радовался, что наконец-то вволю мяса поест, и посылал жену жарить свеженинку.

Потом по-волчьи выл, поскольку бычки были его последней надеждой выкарабкаться из нищеты и долгов, чужих взял на откорм, осенью хозяину сдавать, по головам...

На сей раз Баруздин приехал сердитый, в дом не зашел, вызвав Ражного на крыльцо. В прошлом он работал шофером, возил районное начальство, устраивал для него охоту на кабанов и лосей и потому, когда власть сменилась, не пропал, оказался в охотоведах. Правда, комплексовал и страдал, что не имеет никакого образования, а еще из-за своей лысины вполголовы носил прозвище – Кудрявый. И чтобы защититься, напускал на себя неприступность, говорил мало, многозначительно, смотрел хитровато, замкнуто и отличался несгибаемой принципиальностью. Когда-то к Ражному относились в районе как к герою, особенно после «горячих точек» и ранения и, если он приезжал в отпуск, устраивали с ним встречи в Доме культуры, местное руководство приглашало на пикники, охоты и рыбалки. Потом это помогло организовать охотничий клуб и взять в аренду уголья, но жить долго старым жиром не позволяли время и нравы.

Тем более начала отзываться неудачная охота на логове: Баруздина трепали и за то, что поляки уехали недовольные, и за порезанный скот, и теперь он приехал трепать своего однокашника.

А ведь это он уламывал Ражного организовать для панов охоту и еще намекал, дескать, за поставку клиентов с тебя причитается...

– Что делать-то будешь, Вячеслав Сергеевич? – спросил официально. – Две телеги на тебя в прокуратуру ушли. Или платишь за нанесенный хозяйствам ущерб и добиваешь волка, или...

Он не договорил. Да и так было понятно, что следует за вторым «или» – изъятие охотугодий.

– Извини, есть все основания, – добавил. – Нарушение договорных обязательств. Там определенно сказано: деятельность клуба не должна наносить ущерба сельскому хозяйству. Это же твой волк скотину режет? Твой. Знаешь, и мне наплевать на все твое колдовство.

– Какое колдовство? – спросил Ражный, глянув на охотоведа в упор – тот все-таки отвернулся. – Опять за старое?

– Люди говорят... Твой папаша такие дела выделывал. Только я в это не верю, потому не боюсь. Со мной ты ничего не сделаешь.

– Темный ты человек, Грища... Это не колдовство.

– Знаю, сейчас называют – феномен.

– Матерого я возьму, – чтобы уйти от темы, заявил Ражный. – А платить не буду. Нечем. Да и инициатором охоты был не я, не моя это прихоть.

– И не моя! – поторопился отбояриться Кудрявый. – Думаешь, на меня не давили с этими поляками?.. А формально начальником охоты был ты, и вся вина за неправильную организацию на тебе. Так что смотри.

Сел в машину и укатил, не попрощавшись.

Это было серьезное предупреждение, плотный захват в выгодной позиции, и теперь оставалось или махнуть рукой и ждать броска, или сопротивляться. Самый верный выход был единственный – добрать стреляного разбойника, но Баруздин отлично понимал, что сделать это практически невозможно, хотя Ражный считался единственным опытным волчатником в районе. Это не февраль, когда президент клуба организовывал для немцев показательные, королевские охоты на волков во время спаривания. Те уезжали с трофеями и вытаращенными глазами, откровенно полагая, что серые хищники в России – ручные, ибо в их представлении такой легкой добычи быть не может.

Никто из них даже не подозревал, сколько дней и сколько километров накручивал президент на снегоходе, прежде чем находил болото с тропами, набитыми волчьей парой. И как потом загонял зверей по глубокому снегу до изнеможения, чтобы придавить лыжей «Бурана» и ждать, когда подвезут в нарте немца. Немец становился на номер, а Ражный освобождал волка и гнал его чуть ли не хворостиной, чтобы добрел на выстрел охотника.

Вся такая охота занимала три-четыре минуты...

Как все это делается, знал Баруздин и, будучи в хорошем расположении духа, откровенно восхищался упорством Ражного. И точно так же знал, что значит летом взять матерого-одиночку, вышедшего на дорогу мести.

Предсказать или угадать, где серый бандит появится в следующий раз, было невозможно, а ждать третьего и четвертого нападения, чтобы вывести хоть какую-нибудь закономерность его передвижения, – слишком большая цена и огромная трата времени перед поединком, когда нужно сосредоточиться на себе самом и изучать соперника.

От зависимой души он освободился, разрешил все дела и заботы, которые бы сковывали собственную. И вот осталось одно, оказавшееся самым главным препятствие первой в жизни схватке в дубовой роще, и было оно хуже, дряннее, чем избавление от приبلудного Кудеяра.

На вабу матерый не откликался, свои марш-броски из конца в конец охотугодий совершал только ночью, отчего и разбойничал днем. И не оставлял следов ни на пыли и грязи дорог, ни на песочных высыпках – двигался исключительно по мелким ручьям, опасные участки переходил по ветровалу, избегал полей и других открытых мест.

Волка можно было взять, лишь самому обернувшись серым хищником. Конечно, не в прямом смысле обернуться – войти в состояние, когда полностью освобождены от всего земного чувства, способны подниматься над землей и парить в полете, очень схожем с полетом летучей мыши, а тело в тот миг по выносливости и крепости становится равным волчьему.

И повиснув у мстящего зверя на хвосте, догнать его, где бы он сейчас ни находился.

Но это значило – ослабить себя перед схваткой, израсходовать тот запас энергии, которого потом не хватит в поединке...

И все-таки он решился.

В тот же день, после визита Кудрявого, Ражный спустился к реке неподалеку от базы, чтобы не отвлекали, развел символический, почти бездымный костерок, лег к нему ногами, а головой к воде и пролежал так часа два, замороженно глядя на космы вихрящихся струй, отвлекся, постепенно успокоился и, поддерживая в себе это умиротворенное, даже сонливое состояние, медленно собрался и на малой скорости порулил в дачную деревню.

Жена фермера стояла у магазина, ревела и торговала мясом, благо что покупателей летом было порядочно и цена совсем бросовая, хотя фермер успел перехватить еще теплым бычком горло и спустить кровь. Сам же он сейчас валялся пьяным в кормушке, и оставленный в загоне молодняк ревел от голода.

Из дачников здесь был всего один знакомый – Прокофьев, приезжавший к нему на охоту, – интеллигентный обнищавший старик, родственник знаменитого композитора, запасающий себе и своему псу корм на зиму. Сам в основном питался овощами, однако огромная немецкая овчарка Люта не выдюживала на морковке и картошке, требовала мяса, и старик занимался его заготовкой с началом охотничьего сезона на лосей. Он запрягал собаку в велосипед, если по чернотропу, или становился на лыжи, когда был снег, и ехал на буксире к Ражному на базу: эта зверюга отличалась хорошими ездовыми качествами, приученная с детства. Охотника из Прокофьева так до старости и не получилось, но он старательно отработывал свой кусок лосятины, а главное – требуху и головы от лосей, хватаясь за любое дело, вплоть до мытья полов в гостинице. Невероятно шепетильный, подарков он не принимал, и тем более подачек, и тогда Ражный придумал форму, как помочь старику: после нападения Кудеяра брал Люту для охраны базы, когда уезжал надолго. Звонил через сельсовет старику, тот выводил овчарку со двора, спускал с поводка и говорил:

– Люта, иди служить.

Через час-полтора собака уже сидела возле крыльца дома Ражного и чуть ли не сама пристегивалась к цепи. Возвратившись на базу после отлучки, Ражный привязывал ей на спину кус замороженного мяса и благодарил за службу.

Сейчас он заехал к Прокофьеву и попросил истопить нежаркую баню. Хозяин уже был наслышан о последних событиях и лишних вопросов не задавал, чутко уловив особое состояние покоя неожиданного гостя.

Ражный сам заварил щелок на горячей золе, раскаливая в банной печи округлые камни, и после этого снял деревянное ложе с карабина, тщательно отмыл все металлические детали, собрал его и, не присоединяя приклада, зарядил. И эту железную клюку завернул в чистую тряпку. Потом стал мыться сам, без мыла, одним щелоком, прислушиваясь к собственным чувствам. Перед выездом он ничего не ел и все-таки, повинувшись внутреннему позыву, промыл желудок, дважды выпив по трехлитровой банке речной воды. После бани переоделся в белое солдатское белье, повязал голову куском чистой тряпки, на такую же тряпку, скрутив ее веревкой, повесил на пояс пустую солдатскую фляжку, а ноги оставил босыми.

– Вы как на смерть собрались, – невесело пошутил старик.

– На смерть – в белых тапочках, – проворчал он.

– Ну, ни пуха ни пера.

– К черту, – уходя в сумерки белым привидением, бросил Ражный.

Волчий след он взял с места, где пал последний подрезанный бычок. След был не реальный, относительный, ибо на стриженной скотом траве своих настоящих следов зверь не оставил. Стараясь не расплескать упокоенную и усмиренную душу, он лег приблизительно на то место, куда матерый отскочил, свалив телка на землю. Лег сначала на живот, раскинув руки, затем перевернулся на спину, закрыл глаза и полностью расслабил все мышцы, будто отдыхал перед решающим поединком. Справиться с телом было легче всего – труднее освободить голову от всяческих мыслей, уловить момент – короткий, длящийся всего несколько секунд,

когда не думается ни о чем и сознание становится отмытым и стерильным, как белый речной песок.

Лежал, слушал себя, как врач, прикладывая трубку к частям тела и внутренним органам. Что-то мешало, ритмично прокалывало сознание вместе с биением крови. Он мысленно и как бы со стороны еще раз осмотрел себя и обнаружил причину назойливых сигналов – детородные органы. Вялой рукой поправил их положение, усмирил самую сильную часть существа.

И уловил момент полной прострации, когда подступала легкая, полупрозрачная дрема. Был великий соблазн продлить мгновение, и у него это не раз получалось, но сейчас следовало вновь включить сознание единственной фразой-мыслью:

– Я – волк.

Но не удерживать ее более в голове – загнать в позвоночник и отныне думать только им. Чувствовать позвоночником, видеть и слышать...

Это был древний способ внутреннего перевоплощения, незрячими, суеверными людьми называемый – оборотничество. Скудоумие, беспамятство и закономерный поэтому страх перед тем, что нельзя пощупать рукой или увидеть глазами, создали вокруг такого явления ореол колдовства, нечистых чар, и под мусором предрассудков позвоночный столб вместе с его мозгом превратился в бытовую конструкцию, костяную форму, позволяющую человеку лишь прямо ходить, носить голову и страдать от радикулита. Все остальное, считалось, от лукавого...

Если так, то все человечество произошло от лукавых: в далеком прошлом люди без всякого напряжения переходили в подобное состояние, ибо созданы были по образу и подобию Божьему и тогда еще не только знали, но и чувствовали это.

Отец Ражного называл это состояние «волчья прыть», а парение чувств – «полетом нетопыря»: летучая мышь передвигалась в пространстве, находясь в особом поле восприятия мира, когда он весь состоит не из привычных вещей и предметов, а из полей, излучаемых живой и мертвой материей. Все сущее на земле оставляло не только следы в виде отпечатков подошв, лап и копыт, не только оброненную шерстинку, перо или экскременты, но и другую их ипостась, чем-то напоминающую инверсионную дорожку, оставляемую самолетом в небе. И если там видимый след был результатом выброса тепла и газа в атмосферу – вещей зримых и понятных человеку, то здесь все связывалось с существованием невидимых и неосязаемых, как радиация, энергий.

Утратив былые способности, прирученная собака, например, еще могла ходить по следу запаха или по звуку и движению, сочетаемых с запахом, – так называемое верховое чутье. Она еще могла, живя рядом с человеком и постоянно находясь в его поле, ориентироваться на местности, зализать рану, отыскать необходимую лечебную траву, предчувствовать грозу, бурю, землетрясение, но человек уже не владел и этими способностями. Он был слеп и глух, а окружающий мир по этой причине казался ему злобным, непредсказуемым и опасным для жизни.

Так вот, абсолютным совершенством восприятия среды обитания был нетопырь, умеющий, как и миллионы лет назад, видеть и слышать излучаемые поля – тончайшие энергии, оставляемые в пространстве живой и неживой сущностью.

Подниматься в небо и парить чувствами было довольно легко – все зависело от чистоты выделяемых местностью энергий, и для взлета иногда требовались считанные секунды. Вторым существом после нетопыря был волк, и чтобы выследить его, хватило бы и чуткости чувств летучей мыши, но чтобы настигнуть и победить, следовало самому перевоплотиться чувствами в серого зверя и обрести его прыть. А это как раз и требовало огромных физических усилий.

– Я – волк, – записал он мысленно на чистом листе сознания и тотчас ощутил, как от основания черепа до копчика потекла согревающая горошина, словно капля горячего пота. И привыкая к воле разбуженного позвоночного мозга, он пролежал еще несколько минут и хотел было встать, но в это время проснувшийся и еще пьяный фермер проявил бдительность,

взял ружье и припелся взглянуть, кто это там валяется на выпасе. Встал как вкопанный перед белым, распростертым на земле человеком, захопал ртом, выронил ружье и замахал руками, не в силах двинуться с места. Было слышно, как лязгают зубы и дребезжит его душа, будто он вступает в ледяную воду.

– Иди спать, – приказал ему Ражный и медленно поднялся.

Фермер наконец заорал, попятился и уже через мгновение мчался прочь чуть ли не на четырех, поскольку то и дело запинался и хотел сохранить равновесие.

Должно быть, принял за привидение или напился до чертиков...

За ним вился желтый дымок следа, полный смятения, паники и ужаса. Он чем-то напоминал пятно такого же тумана, оставшегося на месте, где волк повалил на землю бычка. Смертный страх имел одно и то же свойство и окраску, что у животного, что у человека. Но матерый оставил совершенно иной след – след огненной ярости, и это свечение дымной дорожкой уходило к лесу. Ражный поднял сверток с карабином и пошел рядом с ним, как по берегу ручья, не касаясь следа, будто опасался замочить ноги.

В этом состоянии его, как лунатика, нельзя было отвлекать и будить...

На опушке леса, в густых зарослях след немного позмеился и почти оборвался у большого пятна: волк залег здесь, чтобы посмотреть на плоды своей мести. Отсюда хорошо были видны загон и выпас, где учинен разбой. Зверь торжествовал, взирая на человеческое горе, и дальше потрусил в полном удовлетворении от содеянного, поскольку цвет ярости после всяческой игры его оттенков медленно преобразовался в белую пунктирную строчку. Волк на некоторое время стал самим собой – гордым и благородным зверем.

До глубокой ночи Ражный бежал этим следом, по-волчьи перескакивая через ветровал, ручьи и мочажины. И если матерый часто останавливался, выслушивая пространство впереди, или подолгу трусил легкой рысцой, то уподобившийся ему человек, напротив, прибавлял скорости в этих местах и таким образом сокращал расстояние. Пересекая малые речки и ручьи, он некоторое время бежал по воде, хватал ее на бегу горстями, пил, хотя можно было бы набрать во фляжку, и, так и не утолив жажды, снова выскакивал на берег.

Перед рассветом, оставив позади километров тридцать, Ражный оказался на старом, безводном горельнике, затянутом молодым осинником. Здесь волк выкатался на зольной, перемешанной с углем, земле, похватал нижние листья медвежьей пучки, поскольку тоже страдал от жажды, и, углубившись в высокие травы, лег на отдых.

Он в точности повторил все действия зверя, превратив свою несуразно белую одежду в пятнисто-серый с зеленоватым разливом камуфляж, однако на лежке задержался лишь на мгновение, чтобы подсесть выходной след.

Теперь уже было ясно, что зверь идет к Красному Берегу – бывшей деревне, где сейчас жил со своей семьей горемычный мужик по фамилии Трапезников – всего в семи километрах от базы! Даже в голодовку никогда раньше волчья семья не трогала скот в близлежащих к логову хозяйствах, соблюдая жесткий неписанный закон добрососедства. Получалось, что человек первым нарушил его и теперь пожинал плоды...

Несколько замкнутый, но с вечно блистающим взором, Трапезников поселился здесь одновременно с Ражным. Приехал он откуда-то из Сибири, где много лет работал штатным охотником, и в середине своей жизни захотелось ему покрестьянствовать в средней полосе России, пожить независимым от удачи промыслом, покормиться не ружьем и веслом, а трудами на земле. Он поклялся не брать больше в руки ни оружия, ни ловушек и после долгих мытарств получил ссуду и сорок гектаров запущенных сельхозугодий в глухом углу при абсолютном бездорожье. И бился на этой земле уже пять лет: первый год выращивал картофель, который оказался никому не нужным и замерз в начале ноября, вывезенный в условленное с покупателем место, но так и не востребованный. Затем развел коров и стал бить сливочное

масло – экологически чистый продукт, который опять же топился от жары и портился, ибо рынок был завален французским и новозеландским аналогичным товаром.

Отчаявшись, на третий год забил свое стадо, продал мясо цыганам и взялся выращивать лук и чеснок – благо, что урожайность их в этих местах была потрясающей. Результат оказался таким же плачевным: продал лишь семьдесят килограммов, остальное замерзло и сгнило. И наконец плюнул на чисто крестьянский труд, заключил контракт с некой посреднической фирмой в Москве (соблазнил случайный знакомый) и занялся разведением лошадей, которых с детства любил и ставил по благородности и разуму на второе место после человека. Да не простых чистопородных, а исключительно пегих, поскольку фирма обязалась покупать у него весь приплод двухлетнего возраста и продавать в Европу, где была мода на таких лошадок.

Два года Трапезников пластался на покосах, овсяных полях и своей конеферме и с великими трудами произвел и вырастил первую партию из пяти жеребят, для чего собрал со всей области всех пегих маток и отыскал двух жеребцов-производителей.

Волк теперь шел по направлению на Зеленый Берег. Новоиспеченный конезаводчик действительно не брал в руки оружия, однако в нем, вероятно, остался сильный охотничий азарт, да и сыновья его, Максы, никаких клятв не давали и потому не гнушались зверовым промыслом, всюду ездили с ружьями, и теперь матерый, подозревая их в разорении своего гнезда, шел мстить совершенно безвинным крестьянам.

У несчастного новопоселенца было шестеро детей, рожденных еще в Сибири, в охотничьих зимовьях, вдалеке от школ и цивилизации, так что двое старших парней вообще не закончили ни одного класса и по этой причине даже в армию не призывались, а четверо младших с великим родительским напряжением учились в селе за тридцать километров.

И вряд ли упорный Трапезников выдержит на сей раз удар судьбы – несправедливую волчью месть...

От последней лежки матерый оставлял за собой красноватый, словно обогранный кровью, мерцающий шлейф – вновь начинал яриться, и Ражный, рискуя утратить свое волчье, позвоночное зрение и потерять след, мчался уже со скоростью спринтера.

Сильнейшее физическое напряжение помогало находиться в «полете нетопыря», но одновременно быстро растрчивалась своя собственная энергия. Тогда, в Таджикистане, лежа с дырой в боку, Ражный вывел себя из болевого шока, остановил кровь и держал ее, паря летучей мышью, в течение семи часов. Это был его личный рекорд. В вертолете же он мгновенно потерял сознание и очнулся лишь в госпитале, когда готовили аппаратуру для переливания крови...

Зверь мог держаться в таком состоянии сутками и потому, даже смертельно раненный, не терял способности к сопротивлению, уходил на многие километры и, случалось, выживал. И человек, столкнувшись с подобным явлением, объяснял это большой физической силой, крепостью на рану, низким уровнем развития нервно-психической деятельности, дикостью или той же самой «нечистой силой»...

Сейчас Ражный бежал по незримому волчьему ходу восьмой час и чувствовал, как начинает слабеть это поле и яркий след, насыщенный энергией мести, превращается в пунктирную извилистую линию, будто разносимую ветром. Он понимал, что не успеет, если двигаться звериным путем, часто петляющим между болот или открытых мест, к тому же быстро светало, а на восходе солнца нетопырь слепнет и забивается на дневку в укромное, темное место. Можно было забраться под осадистую ель и переждать восход, точнее, проспаться его, что бы дало силы, но он боялся упустить время: волк проявлял крайнюю степень мужества и отваги, мстил открыто, делал набег в светлое время суток, уподобляясь смертнику. Теперь Ражный не сомневался, что матерый выбрал жертвой конеферму в Красном Береге – там, где его не ждут, – и рискнул оторваться от следа, что позволяло бежать напрямую, а по возможности упредить зверя.

Но прежде искал место, покрутился, как это делают собаки и волки, прежде чем лечь, и опустился на землю, прижавшись позвоночником от копчика до шеи.

Выход из «полета нетопыря», сопряженного с волчьей прытью, был болезненным – тошнило, кружилась голова, учащенно билось сердце, и пережить все это на ходу было трудно, да и опасно.

Отец умер от инфаркта именно в такой миг, когда переходил в «нормальное» состояние. Ражный тогда еще служил, приехал на похороны по телеграмме и опоздал на сутки, так что не сидел у постели умирающего, не получил наказов и распоряжений и в последний путь не проводил. Расстроенный и удрученный, он отправился на кладбище и по дороге встретил старуху, тогдашнюю соседку, которая и рассказала, как умирал отец. В больницу он ехать отказался, велел положить дома на голую лавку, разговаривал до самого последнего момента и даже письмо написал Вячеславу, будто знал, что тот не успеет к похоронам, после чего закрыл веки, и в этот миг на глазах старухи лопнула точеная ножка старого стола, бывшего рядом с умирающим. Она испугалась, отпрянула, и в следующий момент у него над головой треснула и разошлась длинной широкой трещиной потолочная матица.

Дух его был еще крепок, бился, а сердце не выдержало. Чтобы писать свои картины, он часто взлетал нетопырем и парил над миром, взирая на него одними сердечными чувствами. И улетап так далеко, что потом, очнувшись, камнем падал вниз и, толком не приземлившись, хватал кисти.

Бумага была испачкана масляными красками, так что кое-где остались отпечатки отцовых пальцев, и письмо было совсем коротким: «Жалко, не свиделись перед моей другой дорогой. Береги Ярое сердце. Я свое утратил, а когда – не увидел. Взлетай нетопырем, да не забывай приземляться. Но лучше рыскай серым волком. Схорони ногами на север, с Валдая привези камень, на котором я всегда грелся на солнце. И поставь на мою могилу. Остальное тебе все сказал, сынок».

Он прикладывал свои пальцы к отпечаткам отцовских и начинал чувствовать его, как живого. Судя по цвету краски, он писал автопортрет, над которым уже трудился года полтора, и Ражный потом нашел на полотне свежие мазки: отец, пожалуй, в сотый раз переписывал свои глаза, соскребая ранее нанесенную краску. И сейчас не получалось, и умер он, скорее всего, от отчаяния, прямо у холста, натянутого на круглый подрамник.

Все картины у него были круглыми или овальными...

Вероятно, письмо прочитали и отца схоронили, как завещал, потому Ражный поехал на Валдай, где прошла вся его юность, но сам не смог отыскать тот камень. Все Урочище обошел, возле дома, где жили, землю ковырять пробовал – нет! Но закрывал глаза и сразу же видел отца живым: вот он спускается с высоченного крытого крыльца, большой и сильный – ступени под ногами прогибаются и скрипят, идет не спеша по тропинке, трогая руками деревья, и садится на камень.

Сначала Ражный проходил этот путь мысленно, затем на смеллся, взошел на чужое теперь крыльцо и только стал сходить, как за спиной суровый окрик:

– Эй, отрок! Что тебе нужно здесь?

Он обернулся, хотел ответить, но увидел, что вышедший из дома человек одет в отцовский кафтан и шапку – наряд, который с юности помнил, хотя видел в нем родителя очень редко. Потом, когда переехали в свою вотчину – Ражное Урочище, – все это куда-то пропало, да и вообще забылось со временем. И в отцовском сундуке их не оказалось, когда Вячеслав разбирап и рассматривал наследственные вещи...

– Скажи-ка лучше, дядя, ты что так вырядился? – усмехнулся Ражный вместо ответа. – Кино снимают, что ли?

– А тебе-то что за дело?

- Да есть дело... Одежка на тебе – отца моего! Ты где это взял?
- Отца твоего? – недоверчиво хмыкнул дядя. – А кто твой отец?
- Сергей Ерофеевич Ражный.

Человек спустился пониже, встал вровень с ним, в лицо посмотрел. От кафтана и шапки остро несло нафталином – только что из сундука добыл...

– Теперь вижу... Ну, здравствуй, Сергиев воин, – оглядел дядя его камуфляж, орденские колодки на груди. – Здравствуй, аракс.

– Здорово, коль не шутишь, – буркнул Ражный, вдруг ощутив смешанное чувство ревности, ностальгии и разочарования – в общем-то, беспричинного...

– Как тебя отец отвечать учил? – застрожился нынешний хозяин дома. – Или забыл все?

– Смотря кому отвечать... Откуда батин кафтан?

– На ристалище добыл! С Сергея Ерофеича снял. И шапку вот эту.

– Так ты ему руку изуродовал?

Новый хозяин Валдайского Урочища посмурнел, посмотрел не виновато – с сожалением.

– Случается и такое, брат... И все равно, здравствуй, воин Полка Засадного.

– Богом хранимые... Рощеньями прирастаемые... Здравствуй, боярин.

– Поди, камень ищешь? – спросил тот. – Ну, пошли, покажу тебе камень.

Оказалось, он лежит много ближе от дома и совсем на другой, заросшей тропинке... И заметить его было не просто – врос в землю, замшел, да и вокруг все изменилось...

Еще по дороге, когда вез этот камень на подряженном грузовике, ощутил его тяжесть собственным хребтом, будто на себе тащил. Шофер часто менял лопнувшие колеса и тихо матюгался, дескать, он что, свинцовый? Вроде бы и размерами невелик, а рессоры в обратную сторону гнутся.

Все стало ясно, когда в каком-то месте проезжали под низкими проводами ЛЭП: не от линии – с поверхности серого, мшистого камня собралась в пучок, а затем стрельнула вверх безмолвная электрическая искра, осветив дорогу и землю вокруг, как освещают ее осенние хлебозоры.

Приземлившись, он ощутил, как устал за эту ночь, и все-таки двинулся к Красному Берегу легким, ритмичным бегом, строго выдерживая направление, даже если приходилось перебрехать через многочисленные ленточные болота. Когда-то хозяйственный Трапезников не пожалел сил и обнес всю свою землю косым жердяным пряслон, и сейчас труд его не пропал даром: кони паслись за изгородью.

Но она не спасла от хищника. Ражный опоздал на две-три минуты – из порванных лошадиных вен хлестала кровь, и один из четырех зарезанных жеребят еще сучил в агонии молочными белыми копытами. Молодняк пасся отдельно от взрослых коней, и волк взял их поодиночке, отбивая каждого от табуна и укладывая так, что они образовали круг. Уйти удалось лишь одному, перескочившему прясло, и теперь белый, в красных пятнах двухлеток, вернувшись к изгороди, скакал вдоль нее и пронзительно кричал, выдавая свое присутствие.

Матерый его слышал и вряд ли бы не искусился соблазном...

Ражный снял тряпку с карабина, загнал патрон в патронник и залег у самого забора. Пегий жеребенок-приманка не чуял ни человека, ни зверя и рвался в загон к своим погибшим собратьям. А волк затаился возле старого остожья, в полусотне метров и, что-то подозревая, вынюхивал и зондировал пространство. Ражный не видел его – уловил лишь короткое, как отблеск, движение, и адреналин сделал свое дело: матерый засек охотника и теперь искал подтверждение излучаемой им опасности. В тот же миг Ражный закрыл глаза, сосредоточил внутреннее зрение на картине агонирующего жеребенка и перестал дышать. Через минуту зверь успокоился, вышел из-за своего укрытия, однако лег и пополз к жеребенку.

Стерня от скошенной травы почти не мешала, хорошо виделся широкий волчий лоб с прижатыми ушами, но за забором плясал и колготил обезумевший двухлеток, и стрелять сквозь его ноги следовало, как сквозь винт самолета, к тому же карабин без приклада – оружие не совсем удобное для такой цели, а сменить позицию уже поздно.

Он выбрал момент, когда жеребенок чуть привстал на задних копытах, и надавил спуск.

Зверь тоже ждал этого и чуть привстал, чтобы сделать прыжок на спину жертве, поэтому пуля пошла чуть ниже – не в лоб, а в грудь. Волка опрокинуло навзничь, пороховым зарядом опалило ноги жеребчику, и он в испуге, с места, перемахнул прясло, которое долго не мог одолеть. И чуть не наступил на Ражного; землей из-под копыт ударило в затылок...

Смерть матерого была почти мгновенной. Он успел лишь оскалиться, и этот оскал длился несколько секунд, после чего верхняя губа расправилась, и на звериной морде отпечатался покой, ибо Ражный в два прыжка оказался рядом, на ходу выхватил нож, коротким ударом проколол горло и подставил под струю солдатскую фляжку.

Волчья сила вытекла вместе с кровью...

5

Когда он торопливыми пальцами зажег вторую спичку и поднял над головой, Молчуна уже не было над Милей, хотя его урчащий голос еще звучал под потолком «шайбы».

А сама Миля медленно приподнималась, отталкиваясь слабыми руками от дощатого поддона, и потом, обернувшись на свет, прикрыла глаза ладонью. Из-за ярко горящей спички она не могла видеть, кто стоит за спиной, да и вряд ли узнала Ражного в таком неверном свете, однако судорожно потянулась к нему, промолвила радостно:

– Это ты! Я знала, ты придешь!.. Мне так зябко. О, как мне холодно!

Он отпрянул, чтобы не достала рукой, поскольку знал, что ее притягивает, потушил спичку и, выйдя на улицу, плотно притворил дверь.

– Что?.. Что?! – Макс потянулся к нему руками. – Не хочешь? Не хочешь оживить ее?..

Ражный хотел оттолкнуть его, но непроизвольно получился удар – младший кубарем укатился в темноту и где-то там затих. Из-за «шайбы» вышел волк, уставился на жожака, приложив уши.

– Зачем ты это сделал? Кто тебя просил зализывать ей душевные раны? Кто? Зачем ты вмешиваешься в человеческую жизнь?

Молчун заворчал угрожающе, присел на передние лапы, словно хотел прыгнуть на Ражного. Тот со всей силы ударил его пинком – волк отскочил, болезненно поджал живот.

– Я не задавил тебя щенком, – прорычал Ражный. – Задавлю сейчас...

В этот момент Макс очнулся, выполз из травы с разбитым лицом, сказал, всхлипывая:

– Убей меня, дядя Слава, – ее оживи...

– Послушай меня, пацан... – Ражный опустил на землю, заговорил тихо и сдержанно: – Я могу ее отогреть, могу. Но нельзя мне этого делать. Я воин, понимаешь? И если вложу огонь своей души в ее душу, ничего хорошего не получится. Она станет... яростной, одержимой, станет другим человеком! Она – женщина, и ей нельзя жить с Ярым сердцем. Ты ее разлюбишь! Ты возненавидишь ее!

– Нет, никогда!.. Я клянусь!

– Это всего лишь юношеские порывы.

– Ну что мне сделать, чтоб ты поверил?!

Волк выполз из темноты и лег рядом с Максом. Смотрели в четыре горящих глаза...

– Хорошо, – наконец согласился Ражный. – Я согрею ее сердце... Но если ты когда-нибудь пожалеешь об этом... Убью вас обоих!

Он вошел в «шайбу», запер дверь изнутри и зажег спичку. Девушка лежала в прежнем положении, запрокинув голову, тело ее подергивалось в такт биению холодной крови. Ражный поднял Милю на руки, как ребенка, сложил в комочек и стал дышать на нее, сначала медленно, с глубокими вдохами, каждый раз вытягивая тепло из своего позвоночника, затем быстрее и жарче, так что сохнувшие волосы начали взлетать от потока воздуха и искриться. Это продолжалось несколько минут, и когда бесчувственное, безвольное тело начало слегка светиться и терять свою мертвую тяжесть, он сделал еще один вдох, из сердца, зажал Миле нос и, приложившись ко рту, бережно, словно драгоценную жидкость, влил воздух. Грудь ее поднялась, взбурлилась, и, когда Ражный отнял губы, она задышала сама.

Тогда он положил ее на поддоны и отполз к стене, хватая ртом воздух, как загнанный конь. Ледяной пот стекал по лицу и спине, рубаха прилипла, точнее, примерзла, и чтобы согреться, он зажег спичку, удерживая ее в ладонях.

Миля еще не шевелилась, но дышала глубже и ровнее, как во сне, а контуры тела ее охватывались золотистой, летучей пеленой.

– Подойди ко мне... – через некоторое время прошелестел слабый голос. – Кажется, ты горячий и светишься.

– Это горит спичка, – проговорил он сухо.

– Нет, я чувствую! В твоей руке холодный огонь... Тепло льется от тебя, а я зябну...

– Тебе нужно двигаться – и согреешься. Пошевели руками.

Она медленно подняла дрожащие руки и тут же уронила их, потом нащупала пододеяльник, инстинктивно, как всякий мерзнувший, натянула на себя, завернулась, знобко съжилась. Спичка погасла...

– Все равно холодно... Почему я здесь? – спросила в темноте. – И что со мной было?

Всем воскресающим нельзя было говорить о смерти, дабы вновь не высвободить душу из остывшей плоти, и потому Ражный проговорил успокоительно:

– Случился обморок, по дороге...

– Вот как?... Странно. Зачем же меня... завернули в простынь? И положили сюда? Здесь так холодно... Это что, холодильник?

– Нет, просто комната, неотопливаемая комната. – Он все еще не мог приблизиться к ней, поскольку сам был холоднее, а солнечная энергия костей источалась медленно и была не более, чем огонек спички.

Вообще-то следовало бы немедленно вынести Милю отсюда, чтобы не заподозрила свою смерть.

– Здесь не живут... Здесь совсем не пахнет жилым! Напротив, чую дух мертвечины...

– Побудь еще немного, – хотел утешить Ражный. – Придет доктор, и мы пойдем, где тепло, где топится печь. Только лежи и не вставай. И все время двигай руками и ногами.

– Не обманывай меня, – перебила она уверенно. – Я вижу... Зачем тут крючья? И какие-то мешки...

– Это кладовая!

Мрак в «шайбе» был полнейший, хоть фотопленку заряжай, и она не успела бы все увидеть, пока горела спичка.

Кажется, у нее открылось особое зрение...

– Меня положили в склад... потому что мертвая? А иначе... почему не в постель?.. – Она зашелестела тканью – оказалось, встала на ноги. – Вспомнила!.. Я умерла. Это случилось перед закатом солнца... Максы несли на носилках, я смотрела в небо... Потом перед глазами кто-то зажег свет, очень яркий свет... И я ослепла.

– Ты просто лишилась памяти, потеряла сознание. – Он прижался спиной к стене и осторожно двинулся к выходу. – Сюда положили, чтобы скорее пришла в себя... Не вставай, у тебя еще не окрепли ноги...

– А что здесь делал волк?

– Какой волк, о чем ты?

– Надо мной стоял молодой волк и... вылизывал вот здесь. – Она указала на солнечное сплетение. – А потом завыл...

Ражный оттянул запор и приоткрыл дверь: почудилось, с улицы влетел знойный, летний вихрь...

– Тебе приснилось...

– Нет, помню... Это не сон.

За спиной Ражного вспыхнул свет, и на пороге «шайбы» очутился младший Трапезников с фонариком. Полосатый луч, будто слагбаум, опустился сверху вниз и уперся в Милю, стоящую в пододеяльнике, как привидение. Она заслонилась рукой, и на несколько секунд повисла тишина.

– Живая! – страшным шепотом проговорил Макс и заорал: – Она живая! Живая! Я знал, ты поднимешь!.. Ты сможешь!..

А сам попятился назад и через мгновение выскочил на улицу. Миля стояла, шатаясь, искала руками опоры. Надо было бы подать ей руку, однако Ражный знал, что делать это сейчас опасно: мертвящий холод жжет сильнее огня, и только от прикосновения к ней можно выжечь всю энергию, с такими трудами добытую.

Влюбленный, но дикий по природе младший Трапезников интуитивно почувствовал это и бежал от страха.

Миля неуверенно шагнула вперед, попыталась дотянуться до крюков, на которые вешали туши битых зверей, но промахнулась, потеряла едва появившееся равновесие и плашмя упала на бетон. Боли она не ощутила – не ойкнула, не застонала, поскольку тело еще оставалось бесчувственным, лишь протянула руку к Ражному:

– Помоги мне встать...

Макс орал на улице как ошпаренный, бессвязно, на одной ноте; ему в унисон орали гончаки в вольере и Люта на цепи.

Ражный тяжело вздохнул и все-таки подхватил Милю на руки, хотел уложить на поддон, однако ощутил слабое сопротивление ледяного тела.

– Согрей меня... Вынеси на улицу. Хочу к огню... Я мерзну!

– погоди немного, – сквозь стиснутые, сведенные ледяной судорогой зубы процедил он. – Еще рано под звезды, душа вылетит. Ты снова умрешь...

Она поняла, сразу же смирилась, намертво обхватила шею, хотя говорила слабо и казалась немощной:

– Тогда поддержи на руках... От тебя идет тепло.

Состояние Правила было близко; еще бы неделю тренировок на станке, и Ражный смог бы взлетать над землей без помощи веревок и противовесов. И сейчас, накануне решающего, второго поединка, да еще не в своей вотчине, где проходил первый, а на чужбине, вот так, бездарно отдавать почти достигнутую подъемную силу, высокую, космическую энергию было преступно и бессмысленно.

Тем более перевоплощать ее в тепло, дабы согреть мертвое тело.

Но и у костра, у самого живого огня Милю было не согреть, не разбудить жизнь в остывшем теле, куда волк загнал почти освободившуюся душу. И она, эта душа, чувствуя живительную силу, тянулась к ней, заставляла стучать ледяное сердце, двигаться омертвевшие мышцы. Она будила, давала ток еще теплеющей крови в жилах...

– Я согреваюсь... Я согреваюсь, – бормотала воскресающая.

Энергия Правила уносилась в трубу, как радужная пыльца, созревшая и теперь сорванная с цветов сильным ветром. Однако он чувствовал, как горячее ее сердце и потеплевшая кровь медленно оживляет плоть.

И это чувство неожиданным образом замещало утрату силы, казалось восхитительным, так что он держал сжавшееся в эмбрион тельце на руках и, пользуясь темнотой, улыбался.

Он действительно однажды отогрел замерзшего скворца и подарил девочке с редким именем – Фелиция...

Тем часом на улице в собачий лай вмешались голоса людей; чудилось, к «шайбе» бежит огромная, взбешенная толпа. Миля услышала, встрепенулась по-птичьи:

– Что это?.. Я слышу голос! Знакомый голос!

– Это твой возлюбленный Макс...

– Нет! Это... врач! – Она прижалась еще плотнее, и отогретые руки похолодели. – Не отдавай меня! Не хочу!..

Доктор ворвался первым, захлопнул за собой дверь, поискал запор – за ним кто-то гнался. Он еще был пьян, однако то, что увидел в «шайбе», мгновенно его протрезвило.

– Положите труп на место! – Луч света запрыгал по Ражному и Миле. – Я должен осмотреть!

– Она жива, – сказал Ражный и, отобрав фонарь, осветил Милю на своих руках. – Смотри. Она спрятала лицо за его голову, зашептала:

– Я вижу, он некрофил. Он любит мертвецов...

В этот момент влетели оба Макса, запыхавшиеся, перепуганные и агрессивные. Словно забыв о Миле, о случившемся чуде, они с ходу набросились на доктора, сшибли его с ног, вернее, уронили, поскольку от переполнявших чувств напрочь забыли, как следует драться. (А ведь учил!) Один из братьев – в темноте не понять, кто – навалился сверху и не бил, а мял врача, тогда как другой, согнувшись, ловил момент, чтобы схватить его за голову. Глянув на эту бестолковщину, Ражный оставил включенный фонарь на поддоне, осторожно отворил дверь и вышел на улицу.

– Куда ты несешь меня? – спросила Миля.

– На реку, – прошептал он.

Вопросов она больше не задавала, сидела на руках, как пойманная птица, поблескивая в темноте белками огромных глаз или вовсе их закрывая. И лишь когда он забрел в воду и обмакнул ее с головой, затрепетала, цепляясь за одежду, хватая ртом воздух.

– Зачем?.. Я боюсь! Зачем?!

– Хочу смыть смертный пот, – погружая ее вновь, объяснил он.

Потом он уложил ее на отмель, нарвал пучок застаревшей осоки и тщательно вымыл с головы до ног. Теперь Миля зябла иначе, как живой человек – покрывалась гусиной кожей, дрожала и стучала зубами. После купания Ражный снял с себя куртку, завернул в нее девушку и понес домой.

– Вот теперь я ожила, – проговорила она сонным голосом. – Слышу, как стучит сердце... И есть хочу.

Дома он растер Милю полотенцем и подал свой недавно постиранный камуфляж и свитер.

– Одевайся... Другого ничего в этом доме нет.

Женская одежда была, и хранилась она в сундуке кормилицы Елизаветы – второй жены отца, однако имела ритуальное назначение и не годилась для обыденной носки...

Пока Миля обряжалась в охотничий костюм, Ражный достал бочонок с хмельным медом, отлил немного в бронзовый кубок, разбавил водой и подогрел над керосиновой лампой. Миля не знала, что в этом кубке, и не попробовала на вкус – выпила залпом.

– Стало совсем хорошо... Я пойду. Уже светает...

– Может, останешься? – безнадежно спросил. – На один день, чтобы окрепнуть...

– Нет-нет! – воскликнула она. – Я отогрелась и окрепла! Чувствую себя великолепно. Правда!

– Я провожу за ворота. – Он сдернул с вешалки дождевик, набросил на ее плечи и стал рыться в обувном ящике.

– Босой мне лучше, – предупредила она.

– Как хочешь...

Ражный вывел Милю за калитку, подождал, когда ее спина перестанет мелькать среди деревьев, собрал с земли пригоршню мокрых желтых листьев и растер, умыл ими лицо. Он чувствовал себя опустошенным, и единственным желанием было прежде всего залечь на трое суток и выспаться. Однако времени до поединка оставалось так мало, что позволить себе такую роскошь – значит проиграть схватку, самую главную, вторую, ибо победа в ней определила бы всю его судьбу.

Но и вздыматься на тренажере в таком состоянии было смерти подобно...

Он пошел на могилу отца и сел на камень. Зубы стучали.

– Прости, батя... Я сердце остудил, мерзну. Дай согреться.

Энергия, когда-то накопленная отцом и заложенная в камень, была живая, живительная, и не существовало ни позволения, ни запрета ею пользоваться. Каждый наследующий ее сам решал этот вопрос, однако чем больше вытягивали ее живые, тем быстрее камень уходил в землю и придавливал родительский прах...

Отцовская кладовая казалась неисчерпаемой, и надгробие стояло на земле так же, как было поставлено в год его смерти. Ражный обнял камень, постоял пару минут и с трудом оторвался: намагниченные волосы стояли дыбом, покалывало кончики пальцев на руках и ногах, во рту стало кисло, и накопилась слюна.

– Спасибо, отец...

Вернувшись с могилы, он обнаружил какое-то неясное движение и шум на территории базы. Гончаки в вольере теперь лаяли беспрестанно и уже осатанели от злости, а Люта по-прежнему молчала и даже не брякала цепью. Спустя минуту Ражный увидел, как из «шайбы» один за другим появились братья Трапезниковы и, озираясь, сначала бросились к воротам, но передумали, повернули к реке, где на берегу паслись их кони. Через калитку не пошли – подбежали к сетчатому забору, намереваясь перемахнуть, однако Ражный окликнул их.

Братья по-воровски замерли, застигнутые внезапным голосом, после чего на негнущихся, деревянных ногах двинулись к нему.

– В чем дело? – спросил он. – Где этот доктор?

Максы словно по команде оглянулись на «шайбу» и повесили головы.

– Убили, – сказал старший. – Задавили...

– А не убивать было нельзя?

– Нельзя... Он не человек! Мы не человека убили.

– Легко вы судите, судьи!.. Образ был человеческий. А вы убили и бежать?.. Даже не спросили, что с вашей возлюбленной?

Младшего словно током пробило, он открыл рот, однако старший пихнул его в спину.

– Значит, все-таки человека, дядя Слава?

– Как же вы думали?.. Подобия Божьего в нем нет, но образ еще остался... Ныне бо́льшая часть человечества – образы.

– Эх! – простонал старший. – Жаль, мало пожил. А так было жить интересно!.. Теперь все.

– Что – все? – рыкнул Ражный.

– Так ведь как? Одно дело от призыва в армию скрываться, другое – нанесение смерти, – с болью проговорил младший. – Если мы теперь убийцы?

– Это верно, – вдруг подтвердил Ражный. – Убийцы не достойны чувства любви...

– Дядя Слава, нам что теперь делать? – в голос спросили Максы.

– Вы бежать собирались? Бегите. Вы и так дезертиры...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.